Ф59

ЭЛЬЯН ФИНБЕР

Ф 59

ПОД ЗНАКОМ ЕДИНОРОГА И ЛЬВА

43638/16

Ф 59
8-3

ЭЛЬЯН ФИНБЕР

ПОД ЗНАКОМ ЕДИНОРОГА И ЛЬВА

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
Г. Б. ЛАНДА и М. Э. ОЛЕНИНОЙ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
АНРИ БАРБЮСА

1632/2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР
№_____ г.

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ...ИЧЕСКОЙ ПРОФЕССУРЫ
Инв. № 43638
16

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА"
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

5-я типография
„Транспечати" НКПС
„Пролетарское Слово"
Москва, Южный п. 4.
Главдит № 58.118. 10 л.
Тираж 4000.
1926

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот прекрасная книга, из которой, как река из берегов, сверкая, выступает юная и ясная душа: юная по своим переживаниям, ясная в своих конечных целях. Все это бьет ключом в ряде картин из быта великой войны. Оказывается, что там, на Востоке, на противоположном конце гигантского фронта, где армии на целые годы закапывались в землю одна против другой и где люди предавались систематическому взаимоистреблению, — и солдаты, и офицеры, и законы, и бедствия, и вся вопиющая несправедливость войны были те же, что и под пасмурным небом Европы.

Люди в мундирах защитного цвета, застегнутых на медные пуговицы с двойным изображением льва и единорога, навербованные для 39-го Королевского стрелкового полка, иначе говоря — в еврейский батальон, вели там, в самых крайних пределах Африки и Азии, такое же существование, как их собратья на Изере и Сомме. Это трагическое сходство поражает с самого начала при

чтении этой книги, автор которой, еще вчера неизвестный в литературных кругах, заслуживает признания, как талантливый писатель, и глубочайшего уважения, как человек возвышенных и стойких убеждений. Его «записки» рисуют Голгофу солдат как еврейских, среди которых был он сам, так и египетских, — этих «кротов» восточной войны, которых писатель успел хорошо узнать за долгое время, когда близко с ними соприкасался.

И что же? Ту великую ложь, которой пичкали нас, мы встречаем и там, как предлог, выдуманный для этих несчастных, чтобы убедить их записаться, записаться во что бы то ни стало, так как для фронта нужны новые мишени, а для славы его всемилостивейшего величества — новые жертвы. Так же, как и нас, их обманывали, играя то на их инстинктах, то на их нуждах, а иногда на их заветных мечтах.

Феллахов-рабочих и евреев-солдат вербовали при помощи громких фраз и великих обещаний. Евреям говорили:

— Война во имя цивилизации освободит ваше отечество от векового порабощения. Взявшись за оружие, вы будете способствовать восстановлению вашего священного очага, развеянного по ветру в пространствах и веках.

И многие юноши, охваченные пламенем великой тоски по родине, радостно записывались в добровольцы. Там, как и здесь, спекулировали идеалом, чтобы получить необходимый запас пушечного

мяса. Там, как и здесь, наиболее проницательные скоро заметили, что стали жертвою обмана. Ни одно из обещаний, данных им, чтобы выманить их подписи, не было исполнено. Попавши на фронт, в траншеи, которые избороздили шрамами разукрашенные и залитые солнечным светом деревни пустыни, они изведали жизнь арестантов; они стали жертвами зверского обращения со стороны надменных и развратных офицеров, пьяниц в мундирах с галунами, одержимых садической жаждой телесных наказаний, — офицеров, на которых бедному солдату, затерянному в этом кромешном аду, пожаловаться было некому и некуда (Вспомните, товарищи, о величайшем садизме военно-полевых судов!).

Все это описано просто, сильно и проникновенно — оригинальным, свежим слогом, порою упрощенно, при чем некоторая наивность изложения соединяется с изумительной виртуозностью формы и красок. Художественным и, что еще важнее, глубоко человечным вкладом в серию произведений, отразивших лик великой мировой бойни, является книга Э. Финбера, которую с благоговением будут изучать поколения завтрашнего дня. С величайшей искренностью и правдивостью автор ее доказывает, что меняются только имена людей, названия местностей да живая декорация событий, а самая война всегда и везде остается той же отвратительной и ненавистной махинацией. Эта книга, как все вообще ценные произведения, сквозь

внешнюю живописность ведет нас к постижению трагического однообразия человеческих страданий.

И еще одну высокую нравственную идею, которая должна найти отклик в еврейской среде, выявляет эта книга: устами ярко очерченного персонажа — еврейского капрала Мойше Лейбмана— автор с большой страстностью излагает идеалы, живущие в душе некоторых евреев,—красоту и необходимость пожертвовать всем, вплоть до своей жизни, делу освобождения еврейства и воскрешения единого в мире очага израилева.

Сам автор не разделяет этой мистической мечты. Он считает, что, во-первых, возможность восстановления Палестины в виде еврейского государства — сама по себе только иллюзия, так как ни одна из великих держав, имеющих возможность способствовать этому восстановлению, никогда не захочет его осуществить. А, во-вторых, что еще важнее, по его мнению, это восстановление и не желательно. Следует подчеркнуть то необыкновенное величие души и глубину ума, с которыми автор подходит к решению этого вопроса. Идеал еврейства, говорит он, выходит далеко за пределы национального; евреи должны охранять и питать свою великую мечту не для того, чтобы замкнуть ее в стенах Палестины, а для того, чтобы распространять ее среди всех людей, побуждая их к выполнению великой задачи освобождения и справедливости. Светом этой блестящей концепции

озарена каждая страница этой книги. Будучи до мозга костей евреем по своим инстинктам, склонностям и трепетным переживаниям, автор возвышается в своей книге до вершин всечеловеческих чувств, и можно смело сказать, что это замечательное произведение, которым он дебютирует на литературном поприще, поднимет читателя на несколько ступеней по лестнице познания.

Анри Барбюс

ПОД ЗНАКОМ ЕДИНОРОГА И ЛЬВА

I

Мне вспоминаются долгие беседы с Мойше Лейбманом, младшим капралом еврейского батальона. Как припев, машинально напеваемый про себя, звучат они, как припев, мелодия которого переплетается с мыслью бегущими арабесками. Много раз пытался я стряхнуть с себя гнет этих воспоминаний, но незаметно, отдельными волнами, жесты моего собеседника, его язвительные замечания, его энтузиазм выплывали в моей памяти, овладевали мной, покоряли меня. Этот широкоплечий молодой человек с резкими чертами лица, упрямым покатым лбом, с головой, выбритой наголо, и орлиным носом обладает властным голосом народного трибуна. Благодаря пламенной, внушающей уважение энергии, он возвышается и возвеличивается всюду, где встречает к себе известное расположение. Его фразы чеканны, ясны и точны. Без скачков и извилин, с несколько грубоватой, бесхитростной логикой идут они прямо к цели. Его вера непреклонна и его чаяния судеб Израиля не

терпят возражений. Мечты его возвышенны. Он вырвался из дебрей толкований талмуда, и библия направляет полет его мысли.

Между тем, под этой уравновешенной и трезвой маской кипит напряженная, нетерпеливая, сосредоточенная душа, готовая вырваться при малейшем потрясении.

Это началось однажды вечером в Кантаре, когда неверные тени легли на палатки и на песок; это была не дружба, а своеобразное откровение душ, когда без особых усилий проникнуть друг в друга и без сходства во взглядах свободно отдаешься друг другу. Он пришел ко мне за каким-то военным справочником, и я задержал его, не знаю—почему, быть может, потому, что мне было грустно.

Его, вероятно, удивило мое приглашение, так как я жил очень уединенно. Все мои связи с окружающими ограничивались обязанностями по отношению к начальству и солдатам моей части. У меня было с собой несколько любимых книг. Мойше, получивший случайное образование в Америке, не имел о них никакого понятия. Но его любознательность тотчас же развернулась. Это послужило исходной точкой. Он оказался превосходным знатоком библии, комментировал ее, цитируя на память длинные отрывки, и был удивлен, не увидев ее на моем столе. Мы разговорились. Светлая ночь окутала нас. Струился песок. Вдали выли шакалы. Слышались голоса, крики, песни.

Мойше рассказывал мне о своем суровом и убогом детстве в Иерусалиме, затем о своем отъезде в Нью-Йорк, так как надо было жить, а нужда преследовала его родителей; о недавних занятиях на вечерних курсах, о работе в гуще заводов, пылающих от расплавленного металла. Но, главное, он поведал мне (и с каким жаром!), сколько воспоминаний живет еще в нем о Священном Городе, как, несмотря на его оторванность от еврейской среды, со всей буйностью молодости, словно листва роскошного тенистого дерева, растет в нем привязанность к своей расе. Его голос звучал страстно, и я понял, что он одним из первых бросится в бой.

II

— Но ведь дед твой боролся и страдал ради нас! Он умер в Палестине: он-то выполнил свой долг. Живи он теперь, он отдал бы себя целиком. Какая же сила подняла всех этих пионеров, которые, точно испанские конквистадоры, ринулись на поиски обетованной земли! Осмелишься ли ты усомниться в их энтузиазме? И сможешь ли не признать их идеал, их вечный идеал, этот цветок горных вершин, корни которого не удалось вырвать никакой враждебной силе?

— Да, но к чему? Несмотря на наши усилия, на власть наших денег, на изворотливость ума, развалины нашего храма всегда будут преграждать

дорогу; тень его всюду будет преследовать нас и останется навсегда потрясающим опровержением наших стремлений. Всегда против нас будет стена веками укоренившихся предрассудков по отношению к старым расам, которые неизбежно должны исчезнуть с лица земли. Нет, мы слишком негодный хлам на задворках истории... К чему же?

— К чему?!! — вот где зло, вот в чем язва. Если до сих пор, несмотря на издевательства, гонения, погромы, мы еще живем и отдаем человечеству нашу плененную энергию, нашу мысль, взращивающую обильный и богатый урожай,—что же было бы, если б наши поэты, ученые, финансисты об'единились на родной земле и ей принесли плоды своих трудов, которыми теперь пользуются наши враги?

— Мы просто передрались бы там, мой милый. С тех пор, как гетто начали исчезать, мы разучились жить вместе. Наоборот, все отделяет нас друг от друга: корысть, честолюбие, даже наше происхождение, которого мы часто стыдимся. И потом, мы слишком индивидуалисты, слишком оппозиционны. Говорю тебе,—мы передеремся. Посмотри, что делается теперь в Палестине. С тех пор, как Бальфур своей декларацией ввел еврейский вопрос почти в официальные рамки — каких только партий не бывало у нас: коммунисты, социалисты и т. д... И у всех свои выборы, свои программы, своя ненависть и свое ничтожество. И вот с этим думают они создать новое государство.

Брось! Перегрызться, распылить свои силы? К чему! Уж лучше бы им, рассеянным и раз'единенным, сидеть по своим местам да тянуть каждому свою житейскую лямку.

— Вот видишь, ты удалился от темы. Идеал заслуживает уважения, каков бы он ни был. Ты из числа тех, кто сражается во имя осуществления этого идеала. Будь каким хочешь скептиком, но, хоть наполовину, ты должен в него верить.

— Чувство долга, — говорил он, — властно заставило тебя записаться в волонтеры; но в поступке твоем не будет ни красоты, ни величия, если ты не посвятишь себя еврейству, ибо ты — еврей. Ты готов пожертвовать собой туманному человеколюбию, но какую оно приобретет полноту, если будет иметь определенную цель! Умереть, защищая свободу и цивилизацию, это прекрасно; но умереть за то, чтобы вернуть себе отечество, за то, чтобы воскресить его былое могущество — это еще прекраснее.

— Что сказать тебе, Мойше? Я хотел бы пойти твоей дорогой. Но нет во мне веры. Когда и я почувствую, как забьет во мне этот божественный ключ, о, как велико будет мое утешение! Так или иначе, я невольно с вами. Я тоже все жду чего-то сверх'естественного. Какая же роза вдруг распустится в этой пустыне? Какое загорится здесь сияние?

— Израиль!..

Мы сидели на песке подле моей палатки. Не знаю, как долго разговаривали мы в эту ночь. Лагерь был полон звуков... Кто-то напевал еврейскую песню. Пламя свечей удлиняло тени в палатках. Мы замолчали. Последнее слово Мойше глубоко отозвалось во мне. Внезапно прозвучал сигнал: «Гасить огни». Свет потух. Мы разошлись.

III

С улыбкой на устах, с расцветшей душой возвращаюсь я в лагерь, и шаги мои замедляются в вязком, как снег, песке. Вся пустыня с ее суровым бесплодием, с ее таинственным ветром, с ее острыми запахами, точно отдается мне, приветствует меня, как хозяина, и я смутно чувствую себя одним из ее сынов.

Моя походка легка, как песня, как дым, как замирающие где-то звуки. Вот линия палаток, белая и прямая, посреди смоковниц с искривленными в каком-то судорожном напряжении ветвями, вот в отдалении и моя палатка, поджидающая меня, словно старая ласковая хижина в деревне. Она круглится всеми своими двенадцатью полотнищами, искусно пришитыми друг к другу, как части моей души; она легка и нипочем ей ветры, дожди, жара; как и моя душа, она легко складывается и перемещается, готовая примоститься всюду — на песках, на глине, на каменьях, — как и моя душа,

переменчивая и скитальческая. Вот близкие и уютные вещи, с которыми я сроднился за мою солдатскую жизнь; в мерцающем пламени свечи тянутся ко мне из темноты их привычные обличья. Вот мой столик, мои книги, несколько дорогих портретов, моя походная кровать, моя черепаха... Покой безграничный...

Сквозь отверстие палатки на песок переливающимся сверканьем ложится длинная полоса света. Маленькие трупы насекомых усеяли стол после счастливого танца вокруг огня. Пустыня дышит вокруг меня: издалека доносятся неопределенные запахи цветов. Сегодня вечером Мойше не пришел ко мне и не принес с собой горячую и добродушную беседу. Я так одинок! В этот вечер я хочу прочесть в первый раз Песнь Песней. Поэзия! Умолкни все!

IV

В самом деле, я припоминаю этого идеалиста-дедушку, что спит теперь в тени оливковых деревьев там, в Священном Городе. Он жил, уединившись на своей земле в Худейре, вечно занятый плантациями и агрономическими опытами. Я видел его единственный раз во время его последней, вероятно, поездки в Египет. В моем детском воображении он запечатлел странный образ человека, очень торопившегося вернуться домой и тяготившегося окружающей обстановкой. Его движения,

казалось, пробуждали заглохшие грезы, а его голос говорил слова, которые вызывали улыбки у моих родителей, но мне почему-то нравились, хотя я и не мог проникнуть в их внутренний смысл. Позже моя мать рассказывала мне его жизнь и дала кой-какие его письма, которые он писал в молодости своему брату. Я хранил эти письма и историю этой жизни, как хранят прекрасные воспоминанья, которые украшают нашу память и манят нас вдохнуть аромат прошлого. Но теперь мне раскрывается в них другая красота и другое значение.

Мое первое соприкосновение с солдатской жизнью... какой позор, какое отвращение!.. Отодвинувшись в прошлое, эти воспоминания всплывают все рельефнее и точнее. Я ли это?.. Как мог я свыкнуться со столькими лишениями, со столькими маленькими уколами?.. Мог ли я раньше спать бок-о-бок с чужими людьми, вместо стола и стула довольствоваться порожними ящиками, стирать и чинить себе белье? Мог ли я подчиняться этой дисциплине, смириться перед этими унижениями? Мне кажется порой, что передо мною развертывается нить какой-то чужой жизни, так сказать, оторвавшейся от моей, и чужие переживания пляшут в сумерках вокруг меня...

Это было в Кантаре. От Александрии мы проехали всю долину Нила. Между диких смоковниц и финиковых пальм, все в иле и соломе, улыбались деревушки. Зеркальные полосы каналов пересекали поля. Мелькали библейские сцены...

Новизна пейзажей придавала путешествию характер приключения. Я забывал, что нахожусь в вагоне для скота, забывал давку и толкотню. Легко и радостно было у меня на душе. Так несся я навстречу судьбе, которую сам избрал для себя.

Потом зелень маиса, свежесть деревень стали встречаться реже. Мы вступили в страну желтизны. Вдоль железнодорожного полотна вытянулась линия лагерей. Струящиеся, волнистые кочки, словно приморские дюны. Кой-где болотца с торчащими пучками высохшего тростника посредине. Ждешь, что вот-вот между двумя холмиками покажется синяя скатерть моря... Кусты, сверканье. Небо наклонилось над пустыней, словно желая с ней слиться. Ослепительная прозрачность воздуха. Неопределенный и всепроникающий запах песков, казалось, доносился из невидимых садов, дремлющих где-то там, за горизонтом. Игра в карты, смех и пение оборвались.

Вдруг из дрожащей дали выплыла серая полоса. Свет одевал ее миражем и очарованьем. Она росла и надвигалась. Легкая зыбь, баюкающее волненье. Стройные казуарины с воздушной остроконечной листвой, на которой солнце зажигало тончайшие иглы, стремительно тянулись вверх. Это была Кантара. За нею протекал Суэцкий канал с готовыми к отплытию пакетботами, груженными продовольствием и амуницией.

Поезд остановился. Нас высадили. Лагерь, палатки. Позади безбрежность дюн. Утро разгоралось.

Тяжелой поступью проходили полураздетые, почерневшие от жары солдаты. Пески дымились.

Мы разбили палатки. Медицинский осмотр. Отвращение тел, ощупываемых врачом... Нагота, бесстыдно выставленная перед всеми!.. Нам выдают билетики, и мы зарегистрированы для смерти.

Дисциплина успела уже забрать нас в свои лапы. Грубо толкаясь, сержант поставил нас в строй. Это был кадровый солдат, проделавший Индийскую кампанию. Его прямые усы были нафабрены, движения и голос — резки. Маска этого человека навсегда останется в моей памяти. Взгляд, которым он пронизал меня, был холоден, как сталь. Он тотчас же угадал мою тоску и мое отвращение.

Склад, пропахший кожей и продезинфицированными вещами, где мне выдали обмундирование!.. Я сдерживался, чтобы не разрыдаться, и сжимал губы, чтобы не закричать. Большая палатка с навесом качалась в этот день от знойного ветра; песок врывался в нее сквозь щели и слепил глаза. Нам выдали вещи, завернутые в шерстяные одеяла, и с опущенной головой, обливаясь потом, я унес их, идя вслед за другими, гуськом.

Какая заброшенность и какое отчаяние! Я искал вокруг себя кого-нибудь, кто бы понял мое душевное состояние. Но ни в чьей душе не было таких протестов. Солнце сжигало пустыню, заставляя щуриться. Сквозь ресницы кружились все предметы. Мои ноги погружались в песок, как в кипящую воду. Я изнемогал в поисках тени. Но все это было

бы блаженством, если бы, по крайней мере, я был один, без этих людей, которых я хотел бы любить, но душа которых была далекой и чуждой.

Нам отвели палатки. Нас было пятеро. Спать в палатке! Какая свежесть на рассвете представлялась когда-то моему воображению, когда я рисовал себе эту беззаботную жизнь, полную приключений... Раскрытый шатер под бездонным небом!.. Как мог я подчиняться всему этому сброду? Тщетно пытался я подавить возмущение и примириться с своей участью; я страдал и стыдился от сознания, что я здесь... Я чувствовал себя обрызганным грязью.

Лучшие места были заняты прежде, чем я успел осмотреться; мне осталось крохотное пространство у самого входа, куда проникали ветер и песок. Взгляды косые, взгляды исподлобья, взгляды, привыкшие видеть низость и уродство... Однако я прощал этим людям, что они не разделяли моей разборчивости и моего недовольства... Их жизнь была такова, она и перекрасила их на свой лад, что же делать? Они сейчас же поняли, что я им не свой — и стена выросла между нами. Друг с другом они быстро сошлись, как животные из одного и того же стада. Запах пота, белья и сапог! От табачного дыма я задыхался. Я смотрел на рассыпчатый белый песок, поскрипывающий под тяжестью моего тела, и мечтал о том, как бы убежать. В отверстие палатки виднелось небо, такое синее, синее! Я был один из еврейского батальона.

И так как я был еврей, они стали пытаться унизить меня...

Выходки этих людей меня раздражают. Можно было подумать, что они давным-давно знакомы друг с другом и что всю жизнь они носили солдатскую форму...

Полнейшее уравнение с ними! Что я такое? Я существую—только как номер, который обязан по команде вставать, итти, останавливаться. Я больше себе не принадлежу. Работа моей мысли, мои запросы никого не интересуют и не дают мне никакого превосходства. Моя духовная ценность не является преимуществом. Иметь сильные руки, зоркий глаз и беспрекословную исполнительность машины, убить возможно большее количество врагов и затем умереть — вот все, что от меня требуется. А в награду меня назовут героем и пришпилят к моему трупу ленточку или медаль...

Единственным моим оправданием был мой пламенный энтузиазм. Я полагал, что свет открылся мне. Я ощущал необходимость пожертвовать своей жизнью за освобождение человека, так как враг посягнул на его мысль, на его семью, этого врага нужно было уничтожить; в этом нас старались убедить. И я научился ненавидеть. Ненависть вкрадчиво вошла в мою душу и погубила ее. Жалкое сердце!.. Я приучился лелеять ненависть, убивать, жить в грязи, простаивать часами в болотной трясине. Прошло немного дней, и вот я тянусь душой к тому, что недавно проклинал, даже

наслаждаюсь им. Напрасно теперь сопротивляться—привычка незаметно затягивает меня, обуздывает и окутывает своим плащом.

V

Целыми днями неподалеку от пальмовой рощи поджидают солдат маленькие бедуинки с корзинами свежих томатов, огурцов и яиц для продажи. В их больших, словно затененных глазах пляшут золотые пылинки, они смуглы, как едва созревший финик. Речь их, обогащенная английскими словами, звучит забавно. Они приходят из Эль-Ариша и из деревушки Эль-Шагар, расположенной напротив, ближе к морю. Они ходят в рваных рубашонках когда-то черного или синего цвета, с вышивкой на рукавах и на груди. Под этим рубищем угадываешь упругую янтарную кожу и изящные линии. Они гибки, как кошки. Стройность фигуры сказывается в их позах и легких решительных движениях. Гордая и прекрасная раса сохранила себя от чужих примесей. Прямой нос, округленная линия подбородка, впалые виски, маленький упрямый лоб, качающаяся походка. Полные губы готовы укусить или быть укушенными. Под лучами солнца, между пальмами, на дюнах, широко разметанных вокруг—там расцветают они, там единственное небо, под которым возможна их жизнь.

Несмотря на молодость, они внутренним чутьем угадывают свою власть над солдатами, теряющими рассудок при виде их тела. Солдат закупает у них целые корзины, приносит хлеб, сахар и варенье из своего пайка, отдает последние деньги, лишь бы добиться их ласк в палатке или в уединении дюн... Добровольно или нет, им приходится подчиняться победителям. Вынужденные голодом, они бродят вокруг лагерей, сначала нерешительные и пугливые, протягивая руку, как нищие; но искушение слишком сильно, и они соглашаются на все, лишь бы было с чем вернуться в деревню и прокормиться с семьей до завтрашнего дня.

Появление этих девушек в одиночестве пустыни поражает неожиданностью, будто среди бесплодных песков встречаешь куст распустившегося боярышника... Едва созревшие — они обещают столько любви... Оттого, что они женщины, зовущие телом и глазами — желание, как стрелка, пронизывает кровь. Эти руки, готовые для об'ятий, эти губы, полуоткрытые для поцелуя, ослепляют меня, и мной овладевает животное желание броситься на эту легкую добычу.

Тоска по женщине разрослась в этом одиночестве, и тело отчаянно призывает другое тело...

И еще я хочу ласки, нежности, шопота, мягкого прикосновения к волосам... Предо мной встают образы обнаженных тел, которые я когда-то обнимал, и волнение охватывает меня, как подростка, впервые познавшего желание. Когда я

возвращаюсь в свою палатку, потрясенный жгучими переживаниями при виде этих девушек, мне становится стыдно своей ничтожности, я даю себе обещание победить свою кровь и стать сильным, а в душе сознаю, что на другой день меня опять невольно потянет в финиковую рощу, и кровь застучит в висках...

VI

Заключенный в покой и одиночество среди неотлучных видений наготы и суровости неба и пустыни, я углубляюсь в себя, в свое «я», которого я не знал, которому были доступны наслаждения только внешними и преходящими явлениями мира.

Когда я шагаю по этим дюнам, во мне просыпаются воспоминания о прежней жизни, и я чувствую себя членом незримого племени, уводящего меня в неведомую даль...

Беззвучно, словно мое второе «я», следует за мной тревога... Я прислушиваюсь к словам Мойше, постепенно проложившим путь к моей душе. Мне так хотелось бы поверить им вопреки всему, надеяться, вступить в сияние истины. Скептицизм, богохульство, сомнения отпадают, точно сгнившие ветки...

Меня обуревает раскаяние. Я стараюсь воскресить свои юношеские мистические порывы... Но... Опять прихожу к абсолютному отрицанию не из

хвастовства, не в силу научно-выработанных принципов, не из мизантропии или слабости. Это — мой конечный вывод. Мне нет никакой надобности цепляться за идею божества. Я сам — свой бог. Я ношу в себе свой храм. Во мне начинается и мной кончается тайна. Я хочу жить полной, простой жизнью, согласной с моим духовным обликом.

Это опять теория, опять фразы... Когда же мы освободимся от этих словесных цепей и рожденных нами химер? Но какая все-таки сила в Мойше, какой размах!.. Впрочем, не все ли равно? Может быть, самый лучший бальзам для души — абсолютное неведение. Не знать ничего, плыть по течению, плыть, не оглядываясь на покидаемые берега. О, сладость видимости и отражений! Скользи, моя душа, скользи по водовороту. Опять теории, опять фразы...

Мойше говорил мне:

— Я жажду раствориться в приношении божеству, я жажду стать одной из жертв, которые спасут нашу расу. Пойми же, пойми всю красоту такой смерти... Всю сладость смерти ради увековеченья нашей расы. Понимаешь? Понимаешь? Отдаться без надежды на награду, отдаться щедро, тайно от всех — ради того, чтобы настал день восстановления храма на холме среди серебристых оливковых деревьев.

А у меня нет этого желания. Между тем, я пытался разделить твое опьянение, Мойше! Разве кто осмелится с насмешкой указать на меня пальцем,

если наши дороги разошлись на перекрестке? Мое сердце не бьется сильнее оттого, что скоро, может быть, пробьет час сражения. Меня удивляет и унижает такой порыв, и я похож на человека, к которому обратились на непонятном ему языке.

VII

Сквозь палатку до меня доносился неясный шум. Я находился в том полусне со смутными видениями, когда тело становится точно воздушным, растворяется. Мне хотелось бы продлить до бесконечности эти минуты. Но как только золотистые лучи пронижут белый холст, наслажденье уступает место горечи. Я, однако, цепляюсь за него, но какая-то невыразимая сила отбрасывает меня, и всей своей тяжестью я погружаюсь в какую-то пустоту... Веки мои наполняются светом, и я просыпаюсь, разбитый и униженный, с неимоверным страхом перед жизнью.

На остывших песках играла ранняя заря. Отовсюду лился серебристый свет. Воробьи еще спали в фиговой роще. В обычной тишине послышались какие-то приближающиеся голоса, какая-то беспорядочная возня. Они звучали странно. Не караван ли бедуинов? Или переход воинской части?

Набросив на себя шинель, я вышел. Среди массы голубых теней, оставляемых уходящей ночью, египетские рабочие перетаскивали со станции

лагерные принадлежности и разбрасывали их в беспорядке там, где был прежний лагерь, отгороженный от нашего проволочным заграждением. Странно жестикулирующие, суетящиеся призраки, в рамке широкого горизонта, едва выделялись своим цветом на гладкой шири.

Они двигались полосами пестрого ситца; одни тащили на себе свернутые палатки, другие—доски, бисквитные ящики, третьи—туго набитые мешки с вещами, отмеченные цифрами их номеров по спискам. В штанах и рубашках цвета хаки, в тюрбанах из белых или синих платков на голове. В этом смешном наряде — пришельцами из чужой страны казались здесь эти люди, которые на своих полях, обожженных солнцем, одетые в просторные рубахи, имели вид патриархов или древних пастухов. В их жестах, взглядах было что-то детское, и они с покорностью выполняли свою работу. Крики, смех, ругань, песни. Капралы грубо обращались с отставшими. Они пользовались дубинкой, неоднократно со щелканьем опускавшейся на спины и ноги... Видя, как этим свободным людям приходится унижаться, получать удары, продолжать свой путь без намека на протест, я понял, что они стали рабами; какая же хитрая приманка, какая скрытая дипломатия здесь орудовала?

Опять ложь, кругом ложь. Разве жест солдата, замахивающегося дубинкой на такого же человека, как я, недостаточно красноречиво говорит об этой войне во имя освобождения великих и малых

наций? И мне стало стыдно, что я ношу эту форму с пуговицами, на которых красуется единорог, лев и два девиза: «бог и мое право» и «позор тому, кто об этом дурно подумает».

Их много, — вероятно, около двух тысяч человек. Повидимому, их прислали сюда на работы по расширению станции и ремонту железнодорожных путей. Их можно встретить вдоль рельсов от Кантары до Людда целыми передвижными отрядами, специально прикомандированными к организации «Королевских Инженеров» и «Железнодорожно-Строительной Компании». Продуктивность их работы и их выносливость оказались главными факторами, широко способствовавшими продвижению английских войск, и можно с уверенностью сказать, что без их содействия победа на холме Гаца, решившая участь всей Палестинской кампании, была бы несомненно задержана.

Судя по их грязной и изношенной одежде, по той ловкости, с какой они устанавливают палатки, размещают ящики с продовольствием, складывают из кирпича и толя кухни, я догадываюсь, что это не рекруты и что им уже пришлось порядочно поработать на всех фронтах.

Лагерь приведен в порядок. Песок укатан при помощи мешков с балластом из тяжелых камней, которые люди волокли за веревки, оставляя след сверкающей белизны. Вокруг палаток были разложены камни в виде украшений и для обозначения

границ. Повсюду, особенно у палаток с продовольствием и у водоемов, расставлена охрана, вооруженная толстыми дубинками.

Вслед за этим прибывает группа офицеров, сержантов и капралов в сопровождении туземцев, несущих багаж. Одни офицеры—англичане, другие—евреи, греки, итальянцы, копты или смесь всех этих наций: какой-то смешанный тип левантинца. Среди высших чинов египтяне встречаются редко. Если туда допущены копты, то единственно потому, что они христиане.

Внезапно воцарилась тишина. О приближении офицеров было сообщено безмолвными знаками. Резкие жесты устранены. Разговоры прерваны. Почти все разбежались по своим палаткам или замерли на месте. Страх перед начальниками—страх раба перед хозяином. Никакой симпатии, нет даже кажущегося единения, спаивающего людей, которым выпало на долю вместе страдать. Пять разбросанных на довольно большом расстоянии друг от друга палаток ясно говорят о существующих между этими людьми отношениях, и офицерские палатки говорят об этом ясней, чем палатки сержантов и капралов.

Начался смотр. Посыпались удары дубинкой, сопровождаемые издевательствами. Свисток. Люди выбегают из своих палаток, выстраиваются попарно со своими «раисами» [1] и капралами во главе.

---

[1] Староста артели.

Их пересчитывают, как скотину в стаде, которое пастух гонит на пастбище. Офицер как будто диктует каждой партии распределение рабочего дня, после чего по сигналу вся партия отправляется в путь.

Заря забрызгала небо. Следом быстро и величественно взошло солнце. В моем лагере оживленное пробуждение. Перекликаются из палатки в палатку. С любопытством рассматривают вновь прибывших и оживленно обмениваются замечаниями. Вид этих людей, единодушно поднявшихся на защиту «цивилизации», вызывает ликование.

Многие радуются новому соседству. Можно будет хоть немного рассеять то чувство подавленности, с которым стали уж слишком свыкаться. Эти новые лица внесут некоторое разнообразие и оживление в мысли, дадут представление о внешнем мире, зрительные впечатления от него, радующие душу.

Там вдали колонна извивается, почти сливаясь цветом с желтизной песков. Видно, как сгибаются спины, вытягиваются ноги. Подобно распускающемуся цветку зазвенела песня, подхваченная хором. Жара усиливается, белеет лазурь. Грусть природы увеличивает печаль людей. На повороте дюны они исчезают. И пустыня снова принимает свой суровый вид, снова начинается день, полный новыми переживаниями.

VIII

Тщетно роюсь в тончайших изгибах своей души: я не нахожу в ней намека на нетерпеливую жажду боя. Ничто не влечет меня к нему. Ни убеждения, ни надежды. Не из бурной расовой непримиримости записался я волонтером. Я никогда не испытывал расовой ненависти. Самое большее, если у меня сжимались кулаки, когда несправедливо нападали на моих единоверцев, или когда в России, на глазах у равнодушной Европы, их беспощадно громили. И тут гнев овладевал мной отнюдь не из религиозных побуждений, а в силу братской солидарности, которая связывает людей, пораженных одним и тем же несчастьем.

Запах пороха и крови мне ненавистен: он не воскрешает во мне воинственной наследственности, дремлющей в глубине души у тех, отцам которых приходилось защищать свою родную землю.

Но мне невозможно было избегнуть влияния эпохи, а эпоха эта пропитана воинственным безумием. Вся молодежь принесла себя в жертву. Мог ли я устоять? Я видел вещи под новым углом зрения, или скорее меня вынудили их так видеть. Я чувствовал, что очутился на повороте. Требовались мышцы, крепкие бока, открытый взгляд. Мне казалось, что при звуке фальшивой монеты рушилось много принципов, много грез. Бывший в моде сантиментализм отжил свой век. Какая хорошая встряска для меня! Откуда-то появилась новая

сложность. В мою внутреннюю жизнь, подобно всюду проникающей неосязаемой пыли, просачивались тысячи вопросов, требовавших ответа.

Да, мне нужно было встряхнуться. Влюбленный в тишину и спокойствие, обожающий закрытую комнату с ее таинственной тенью бледный юноша, который среди книг витает в несбыточных мечтах, — вот чем я был. «Значит, теперь я смогу действовать, управлять, жить активной, мощной жизнью, — говорил я себе. — Мне не придется больше, как слепому, ходить ощупью, ничто не заставит меня отступить. Мой голос, иногда дрожавший, окрепнет. Точно дым рассеется вокруг меня, и это будет моим воскресением».

А теперь я выношу себе приговор. Мой труп будет только лишним трупом, забытым, как и другие. Это так называемое самопожертвование будет простым обманом. Ложь, сплошная ложь—этот гнусный набор людей. А кроме того, отчего не сознаться самому себе, к чему так упрямо скрывать от себя свое тревожное состояние?

Я боюсь, боюсь страданий, ампутированной руки или ноги, боюсь видеть свое трепещущее и истекающее кровью тело... Трусость?.. Что же... Громкими фразами пусть услаждаются фанатики... Знаю одно: помимо своей воли я был захвачен колесами военной машины. Теперь я это вижу, и мне страшно... Жизнь — мое богатство, и я хочу жить. Никакой идеал не влечет меня к ужасной смерти в бою. Я — продукт той расы, которая

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА

стремится к миру и расцветает лишь в среде изысканной цивилизации. Этот уравнивающий меня со всеми мундир с его шерстью цвета хаки, превращающий меня в скот для бойни, подавляет меня.

Как убить живое существо, человека, который, как я, радуется жизни, любит, страдает,—видеть его лежащим в луже крови!.. Да еще требуется, чтобы меня охватила глубокая радость от сознания, что именно я остановил струю жизни в человеческом теле! Неужели могут от меня требовать что-нибудь подобное? От меня, которому было до слез больно видеть, как однажды вблизи школы мальчик убил прыгавшего возле лужицы воробья. Разве смогу я совершить акт убийства ружьем или шашкой?

Я смотрю на свое ружье со сверкающим штыком, и мне становится страшно. Я дал себя заразить, как многие другие, пустой газетной и журнальной болтовней, которая воспевала войну, прославляла героев и убитых и предвещала новое искусство, лучшее человечество, в то же время толкая молодежь к окопам.

Теперь поздно раскаиваться. Цепи слишком крепко сковывают мне руки. Дезертировать?.. Я слишком горд для этого, да впрочем как? Не подчиняться?.. Сопротивляться? Тогда—тюрьма.

Пусть мне скажут, какую это отчизну должен я защищать. Бросьте! Вся эта патриотическая и гуманитарная фразеология, как она мелочна!..

К чему я все это пишу? Приходится молчать, мириться, даже притворяться, но главное—это ждать конца, все равно какого — будь это победа или поражение.

Я уверен, что многие, подобно мне, мечтают об освобождении и хотели бы стряхнуть с себя гнетущую ложь, превращающую их в рабов. В каждом окопе найдутся молодые люди, которые, вопреки грохоту пушек, хотели бы протянуть друг другу руки через разделяющие их проволочные заграждения, и, согретые дружбой, уйти отсюда плечом к плечу...

IX

Вдоль дюны тянется вереница верблюдов. Их тени кажутся фреской на фоне заката,—одного из тех закатов, которые обычно яростно расстилаются по небу, заливая его пурпуром, и умирают без долгой агонии.

Вожатый верблюдов с тростниковой флейтой во рту точно высечен из камня... Мелодия льется в такт движению горбов... Это один из тех вечеров, когда и ароматы в воздухе, и загорающиеся звезды, и мягкость песков, и моя душа жалуются на свое одиночество...

Смоковницы зеленеют. На их голых ветках—нежные почки. Влюбленно чернеют среди них воробьи точно для того, чтобы ускорить рост листьев. Это совсем маленький лесок, который

тянется до подступов к Эль-Аришу, отделенному «вадди» [1] от финиковой рощи. Насекомые хлопотливо роются в песках. Крупные муравьи возле серого и коренастого ствола толкают перо горлицы, черный жук на навозном клубке кувыркается, точно клоун, белая мышь с глазами, как черные жемчужины, убегая, оставляет на песке отпечаток своих тонких розовых лапок.

В лазури кружится коршун. Солнце зажигает почки, солнце обнимает все кругом. Клочки земли, где растут рожь и помидоры, лужайки у финиковой рощи светятся, как алмазы. Девочки ведут стадо коз. Человек тянет из водоема «шадуф» [2], откуда льется беловатая вода. Остроконечные палатки бросают на дюны треугольные тени.

В тени финиковых деревьев на квадрате нив волнуется золотистая рыжая рожь. Колосья тощи, а стебли тонки и коротки. Девушки с пронзительным криком хищных птиц пугают воришек-воробьев, ударяя сухой веткой по пустым жбанам...

Стройные женщины уже склоняются над снопами. Их жесты тают в потоках света... Ослы уходят, нагруженные блестящей светлой соломой... Жатва проходит без песен... Солдаты без мундиров покупают пурпурные помидоры, которые срывают сами. На горизонте—вершины неизвестного мне по имени плоскогорья заметны своим еще более

[1] Поток.

[2] Ручное приспособление, применяемое феллахами для извлечения воды из колодца.

ярким светом, который кажется миражем, готовым рассыпаться при малейшем дуновении ветра.

Пески, кругом пески. Пустые горизонты, отливающие белизной. Выветрившиеся кости, несколько кустов терновника или пучков сабуры, следы солдата, верблюда или лошади, легкие борозды, маленькие волны, высекаемые мимоходом скульптором-ветром, кривые и покатые очертания холмов, пули, шрапнели, пустые коробки из-под консервов, ржавые от дождей, и над этим пейзажем—широко расстилающаяся синева неба, удушливая жара, одиночество беспредельное, до края земли... И я...

X

Команда и все приказы по батальону издаются на древне-еврейском языке. Почти все солдаты его знают. Он является как бы официальным. Он об'единяет. Во времена величих испытаний, когда его крылья были сложены в глубине священных книг, он являлся выразителем надежды. Теперь же, когда он, молодой и упругий, звучит на свободе, в нем сосредоточиваются все осуществления, и самое блестящее завоевание—он сам, ибо освеженная им раса крепнет и познает в нем себя.

По какому-то безмолвному соглашению, в силу всевозможных давлений извне, начальники стали об'ясняться только на этом языке. По возможности избегают употребления английских слов или

«идиша» [1]. Всякое иностранное слово является оскорблением. Евреи русские, польские, американские или английские—все тревожно и страстно следили в своей стране за возрождением языка, за расцветом идеи о национальном очаге в Палестине.

Они изучали его с фанатическим упорством, легко в нем усовершенствовались и всячески изощрялись, чтобы дети с самого раннего возраста последовали их примеру.

Когда раздался клич, они все были готовы, а когда они встретились на этой границе, являвшейся открытой дверью в обетованную землю, они сразу нашли общий язык для своих целей и мыслей и с радостью приветствовали друг друга на языке своих отцов: «шолом» [2].

Среди них есть такие,—к ним принадлежу и я,—которые, по независящим от них обстоятельствам, не изучили своего языка. Они как будто в стороне от лагерной жизни, почти изолированы. Те, которые раньше читали библию только для молитв и обрядов, не понимая в то же время ни глубины ее слов, ни ее сокровенного смысла, выписывали теперь грамматику, книги для чтения и разбирались в них с терпением и прилежанием школьников.

Иногда бывали вечерние уроки, но я туда никогда не ходил. Мои начальники мне часто

---

[1] Еврейский жаргон.

[1] Приветствие у евреев — «мир с вами!» — «шолом-алехем!»

доказывали, что знание древне-еврейского языка не только является обязанностью солдата, но и пригодится со временем мне самому; но им так и не удалось меня в этом убедить.

А между тем я почти завидую, когда вижу, с каким жаром и воодушевлением они между собою разговаривают, завидую от сознания, что я как будто ниже этих молодых людей, которые хранят в себе, кроме всего остального, гордость идеала.

Гармония и звучность... Эти фразы меня невольно волнуют и глубоко во мне отзываются; я чувствую в своей крови голос Израиля... Своими грамматическими формами он напоминает арабский. Язык этот считали уже мертвым, и вдруг каким-то чудом он стряхнул с себя покров пепла. Освободившись, он обнаружил себя во всей полноте, гибкий, как сама мысль, и живучий, как преклоняющиеся перед ним люди.

Иногда в глубине души, в часы отчаяния, просыпается сожаление, что в молодости я не ознакомился со словами священной книги... Должен ли я кого-нибудь обвинять в этом: кого-нибудь другого или самого себя?

Я был воспитан вне всяких традиций, в атмосфере уважения ко всем верованиям, с полной свободой развития своих душевных сил. Отец мой был из тех, кто мечтает о социализме и не признает отечества. Нашу жизнь не отравляли ни жестокие законы религии, ни судорожная любовь к единой стране. В наш дом проникал чистый и

здоровый воздух. Зависть и злопамятство никогда не переступали нашего порога. В наших глазах люди не казались отмеченными особыми ярлыками своей религии и границами, отделявшими частицу земли, которую их предки завоевали посредством целого ряда войн, краж и пожаров. В школе наши товарищи удивляли нас сильно, полагая, что дают нам пощечину распространенной бранью «грязный жид».

Между тем голос прошлого звучал в моем сердце. Я носил его в себе, не заглушая его, но в то же время не подчиняясь его властным мольбам. Ни синагоги, ни субботы, ни праздников.

Моя мать хранила в себе некоторое влечение к религии и, вероятно, с грустью замечала, что мы утратили его. Может быть, ей хотелось, чтобы мы хранили в себе сладость молитвы ради тех красящих жизнь воспоминаний, которые они оставляли в душе. Потому-то, вероятно, она повторяла нам романическую историю дедушки, украшенную каждый раз какой-нибудь новой деталью. Но внушаемые нам нашим отцом широкие взгляды одержали верх своей простотой: мы прониклись ими.

Это язык, который так вибрирует во мне, мне чужд. Он — точно книга, лежащая возле меня, которой я не раскрою. В моем представлении он связан с грохотом пушки. Он связан с Мойше и со всей этой бойней. Почти с ненавистью я слышу его в устах этих солдат.

XI

Вечер прокрадывается в тяжелый дневной свет, как серебристый ручеек бежит среди опаленных трав, вечер, наполняющий небесную чашу, вечер, шелестящий, как листва... Мы—Мойше и я—вытянулись у входа в мою палатку; я перебираю пригоршнями песок, пропуская его между пальцев.

— Если б ты знал, как прекрасна еврейская семья, собравшаяся вокруг стола. Какой великолепный пример солидарности она подает своим хулителям,—говорил мне Мойше, и от его медлительных жестов чуть-чуть веяло свежестью.

Пустыня таяла, синея... Мы были как в преддверии рая... Звезды совершали свой путь, склоняясь в цветущих аллеях с улыбкой влюбленных, чьи уста ждут поцелуев... Мойше продолжал более мягким голосом, поднимающимся из самой глубины его воспоминаний:

— Видишь ли, мы не можем освободиться от наших традиций и от древних упований нашей расы. Невидимые нити связывают нас с длинным рядом умерших, помимо нашей воли говорящих нашими устами. Мы напрасно пытаемся свернуть с их пути, мы неизбежно на него возвращаемся, хоть иногда и не прямой дорогой. Правда, мы усвоили некоторые принципы, начертали кой-какие правила житейской мудрости, выработали идеалы красоты и любви, дали заполонить себя чуждым влияниям, влияниям любимых книг, среды, куда нас заточила

привычка; но настает день, когда мы чувствуем, что все это было призрачным и паразитическим, и тогда начинается борьба между нашим унаследованным и этими втирушами, борьба, которая заканчивается блестящей победой, возвращающей нас в лоно нашей древней семьи, чья кровь бьется в наших артериях и направляет нас по пути предначертанному.

Я еле различаю его, настолько он сливается с ночью. Моя палатка издает легкий звук хлопающего полотна и укрепляющие ее веревки скрипят, натягиваясь... А я продолжаю пропускать сквозь пальцы песок, взвешивая наше тщеславие.

XII

Сегодня я посетил наших соседей, египтян. С одним из их капралов, Абд-Эль-Лятифом, человеком живого, гибкого ума, не лишенного хитрости и той преувеличенной чисто-восточной льстивой любезности, которая невольно приводит в смущение,—мы долго беседовали о людях, над которыми он является главным надсмотрщиком. Когда в разгаре нашего разговора я выразил ему желание ближе познакомиться с жизнью его рабочих в условиях режима английской армии, он сразу изъявил готовность удовлетворить мое любопытство. Я нашел в нем ярого мятежника. Нас сближало сходство тяжелых переживаний, одинаковых печалей и надежд.

Из общежития училища отцов иезуитов в Каире он вернулся прямо в свою родную деревню Бенха, где сделался надсмотрщиком на хлопковых плантациях своего дяди. Ведя деревенский образ жизни среди полей, он скоро порастерял — это я тотчас же заметил — многое из того, чему обучили его достойные отцы.

Только понаслышке знал он кое-что о конфликте, потрясавшем всю Европу, когда появились скользившие из деревни в деревню агенты английской пропаганды, ловко убеждавшие плохо обеспеченных феллахов, что им стоит обратиться в Марказ [1], чтобы получить точные справки о том, как можно даром увидеть много разных мест, получая при этом большое жалованье, и на всем готовом: одежда, помещение и стол — все наравне с европейцами!

Деревни опустели. Поезда мчали в столицу их жителей со смуглыми улыбающимися лицами и с еще сохранившимся запахом земли и маиса.

Они поддались соблазну крупного заработка, а еще больше мечте: увидеть другие горизонты, другие деревни, других людей.

Абд-Эль-Лятиф по своему положению и благодаря знанию английского и французского языков получил сразу чин капрала с обещанием повышения и производства в офицеры в первые же месяцы

---

[1] Главный город в данной местности.

службы. После медицинского осмотра ему было предложено заполнить опросный лист, где среди других вопросов было: играет ли он в футбол, ездит ли на лошади или на верблюде, какой предпочитает спорт. Цель была ясна: позолотить первые впечатления добровольца. Это была чеканная, увитая розами дверь... ведущая в тюрьму. Еще он подписал нечто вроде контракта, где, между прочим, было оговорено, что военную форму он будет носить условно, что он не будет вооружен, никогда не будет отправлен на прифронтовую полосу, а будет находиться от нее на расстоянии не меньше десяти километров; в случае неподчинения уставу со стороны людей его отряда он будет предан военно-полевому суду. Кроме того, он обязуется служить не только до окончания военных действий, но и после заключения мира — в случае, если его услуги понадобятся правительству его величества. Соблазненный прелестью всех этих обещаний, он вступил на путь, начертанный ему судьбой, и она привела его к теперешнему положению.

На обязанности Абд-Эль-Лятифа лежала ежедневная доставка провизии с главного склада, а также ответственность за чистоту в лагере. Он пользовался большим авторитетом, и в его распоряжении находился целый штат прислуги. От служебных занятий у него оставалось много свободного времени. Он пользовался им для долгих прогулок по морскому берегу или в глубь пустыни. Тут-то и столкнула нас судьба.

В его палатке, уютной, благодаря полученному им разрешению иметь походную кровать, стол, маленький шкафчик, — мебель, удобную для перевозки, — нам подал кофе слуга-бербер с шрамами на лице (Чин давал Абд-Эль-Лятифу право иметь слугу). Абд-Эль-Лятиф перестал перебирать свои янтарные четки — обычное занятие его нервных пальцев — и только запах кофе наполнял молчанье, прервавшее наш разговор.

Ветром донесло до нас крики, точно такие же, как те, что разбудили меня на заре в день приезда наших странных соседей. И, действительно, это они возвращались с работы. Их «табур» [1] змеился, как шеренга школьников. Желтые кольца, образуемые мундирами защитного цвета и нелепыми головными уборами из мешка для песку, свивались и развивались, начиная от финиковой рощи, минуя «вадди», вплоть до самого лагеря. Остряки и шутники перекидывались едкими словечками. Особенно изощрялись в грязнейших выражениях, которыми соперничали, скрещивая их, как рапиры, до боли раня ими противника. Это были форменные состязания, где побежденный последней невероятной фразой зубоскала-противника оставлял поле битвы под насмешки покатывающихся со смеху товарищей.

В хвосте были старики и слабые, тупо глядевшие перед собой. Они казались чуждыми общему

[1] Совокупность марширующих отрядов.

веселью, охваченные мрачным унынием людей, которым все надоело. Иногда они наклонялись, чтобы поднять окурок папиросы, обрывок бичевки, коробку из-под консервов, и снова продолжали путь.

Отряды уселись по-восточному на сборном пункте среди палаток в ожидании переклички и выдачи чечевичного супа, луку и галет.

Понемногу они возвращались к отдыху и забвению. От вечерней свежести становились мягкими напрягавшиеся в течение дня мускулы. Усталость пригибала их к земле. Они молча отдавались ласке вечера, чувствуя, как в них проникает отрадный мир.

Абд-Эль-Лятиф вышел из палатки. Перешептывания прекратились. Он приблизился. По приему, который ему оказывали, я тотчас же понял, как люди любят его. Он умел соединять величайшую строгость с приветливым обращением и в совершенстве изучил грубую, но глубокую психику своих подчиненных. Участие, с которым он относился к их мелким интересам и повседневным заботам, сближало его с ними и вызывало в них пугливую, но доверчивую преданность. Так как арабский язык был для него родным, а сам он был египтянин, как и они, он являлся их переводчиком перед офицерами, излагал их просьбы, помогал им во всевозможных затруднениях, писал им письма на родину, давал советы. Он погружался в эти души и знал их малейшие изгибы. У него была манера

говорить, привлекавшая к нему все сердца. Он мог добиться от них всего. Офицеры признавали его влияние и часто к нему прибегали, чтобы заставить его людей сделать лишнюю работу или экстренно— ночью проложить несколько сот метров рельс.

Начальники отрядов, с дубинками подмышкой, отдали ему честь. Он наскоро произвел осмотр, выслушав бесчисленные благословения, и стал наблюдать за раздачей рациона. Каждый подставлял тщательно вычищенную коробку из-под консервов, служившую котелком.

Свисток. Все рассыпались и стали группироваться вокруг палаток. Чавканье смешалось с грубыми шутками и громкими раскатами хохота. Ночь сгустилась над людьми и превратила их в жестикулирующие тени.

Некоторые потащились за Абд-Эль-Лятифом, напуская на себя страдальческий вид, так хорошо ему знакомый, который они всегда принимали, когда попадались в какой-нибудь лжи и старались оправдаться. Они жаловались или на то, что им не полностью выдавали паек, или на то, что их капралы получали «бакшиши» от соседних артелей, или обвиняли друг друга в воровстве.

Возле его палатки Абд-Эль-Лятифа окружили кольцом. Теперь ему нужно было рассудить их по всей справедливости, подробнейшим образом разобравши, где правда и где ложь, не возбуждая при этом их подозрительности. Он делал выговоры, запугивал строгими наказаниями, которым их

может подвергнуть по его хадатайству военная власть, а они поражались его проницательности и преклонялись перед справедливостью его решений.

Иногда подобные заседания затягивались до поздней ночи, но он добродушно с этим мирился.

Сияние звезд было в полном разгаре. Я покинул Абд-Эль-Лятифа, углубленного в роль судьи, произносившего слова правосудия, все продолжая перебирать янтарные четки.

XIII

Мой дед был одним из тех, кто не мог примириться с порабощением мужиков. Он сделался революционером. Как и многие, он нашел, что в России надеяться не на что, и уехал в Палестину вместе с небольшой кучкой русских идеалистов.

Он сделался колонистом. Он изведал, что значит в поте лица сеять и с радостью вязать снопы. Спустя немного времени за ним последовала жена. Она сделалась фермершей. К ним присоединились другие супружеские четы. Образовалась дружная семья.

Все эти студенческие хозяйства, богатые только энтузиазмом да верой, не считаясь ни с лишениями, ни с жертвами, заложили первые камни, на которых выросли теперешние еврейские колонии с их виноградниками, апельсинными садами, эвкалиптовыми рощами — истинные образцы

порядка, терпения и культуры в стране, где маразм и бездействие турок предоставили всю землю чертополоху и засухе. Эта молодежь выбивалась из сил, способствуя эмиграции. Образовали фонд, посылали средства, покупали орудия, сражались пером.

Другая молодежь откликнулась на призыв из возлюбленной земли. Воскресла тоска по родине, жившая в крови. Из Европы и из Америки хлынула помощь. Воздвиглась ограда храма. Из глубины пыльных и позабытых книг извлекли на свет еврейский язык. Упрощенный и украшенный, пригодный теперь для выражения всех научных понятий и всех сложных изгибов современной мысли, он особенно сладостно зазвучал в устах маленьких детей. В полях, на маленьких улочках зазвучал прекрасный язык библии, и старики, согнутые над молитвенниками, с радостью, засиявшей в душе и в глазах, сказали, что не все еще потеряно.

Одинокие и безвестные поэты, втайне лелеявшие свой идеал, вдруг предали гласности поэмы, пламенные и прекрасные, как мечи на поле битвы.

Эти поэмы пели о страданьях еврея, о его надеждах, его силах и жизнеспособности. Ключом забила целая литература, юная и свежая.

И те, кто с презрением смотрел на расу рас, принуждены были теперь признать, что Израиль возрождается, несмотря на гнет в течение долгих тысячелетий, несмотря на преследования, — возрождается во всеоружии векового опыта, утонченной

гибкости, и миру приходится признать его право на существование.

Лежа на смертном одре после тягостной болезни, дед мог созерцать осуществление своей пламенной мечты. Там в долинах молодежь проводила глубокие борозды, где будут созревать силы для грядущего. Под оливковыми и апельсиновыми деревьями, как некогда, дщери сионские поют хвалу всевышнему и радость избавления. О чем мог он жалеть, чего желать? Он видел, как глубже прежнего пускала корни в сердцах, как пышно разрасталась в них идея восстановления Израиля. Он мог уснуть ясным сном смерти.

Вот что рассказала мне мать о моем идеалисте-деде, образ которого Мойше старался вызвать во мне, как путеводную звезду. Все же и этого примера было для меня недостаточно.

XIV

«Меня страшит вечное молчание бесконечности». Эта фраза великого мыслителя коснулась моих уст, как слова любви, сказанные шопотом перед лицом ночи. Она разраслась до самого горизонта, она заполнила всю пустыню, она вздыбилась до самых звезд на майском небе.

«Меня страшит вечное безмолвие бесконечности». А меня это безмолвие раздавило! Я чувствую себя таким маленьким, таким жалким перед вечной

загадкой. Кого вопрошать и кто ответит? Никто. Ничто. Оттуда нависла ужасающая жестокость. Я в плену у вечных вопросов бытия. Кто я? Куда я иду? Мраморная ночь, мраморная пустыня, один я — ничтожество, пресмыкающееся, червяк.

«Меня страшит вечное безмолвие бесконечности».

XV

Мог ли я предвидеть то, что со мной произошло? Не я был господином над этими часами, а если бы и я? Как мог бы я отказаться от того пряного и мощного, что принесли они мне в дар? И был ли я властен в событиях, которые должны были развернуться?

Обезумевший от желания, я бродил вокруг финиковой рощи в поисках женщины. Я двигался вперед, полузакрыв глаза, с тревогой в теле. Я весь был во власти единственного желания, чудовищно расцветшего в глубине моего «я». Меня словно опустошили от мыслей, от мечты. Я только шептал самому себе: «Эти бедуинки охотно соглашаются. Вероятно, у них странного вкуса губы, и их об'ятья, наверное, очень искусны».

Образ одной из них особенно запечатлелся у меня в памяти. Никогда я не замечал ее вместе с другими. Ее появление меня удивило и заинтриговало тем более, что лицо у нее было закрыто. У нее были формы созревшей женщины. Она

сидела на корточках, прислонясь спиной к стволу финикового дерева. Почувствовав, что за ней наблюдают, она принялась перекладывать помидоры в корзинке, сплетенной из пальмовых волокон. У нее были тонкие пальцы, окрашенные лавзонией. Единственный открытый глаз отливал золотистым маслом, в котором играет солнечный луч. Ее бюст поднимал черное покрывало, как рельеф вазы.

Быстро опорожнилась ее корзина и клетчатый платочек наполнился пиастрами. Она встала, чтобы уйти. Все ее тело волнисто покачивалось. Она была больше женщина, чем я думал, женщина по покачиванию бедер, женщина по контуру грудей.

Она пошла по дорожке, ведущей в Эль-Шагар. Мои глаза потянулись за ней, шли за ней неотступно, касались ее. Она не могла не чувствовать, как обвивали ее мои взгляды. Прежде, чем окончательно исчезнуть, она обернулась, приподняла покрывало и, как щедрый дар, разом показала мне все свое лицо. Был ли это вызов или простая случайность? Я не пошел за ней, потом я о ней забыл.

Я застал ее с непокрытым лицом в затерянном уголке финиковой рощи, где стволы пальм чаще, и гуще переплетаются их кроны. Она сидела, спустив ноги, на бруствере оставленной траншеи.

Была пятница, и с женщиной не было корзины. В жгучих глазах не было ни мечты, ни ожидания. Все тело казалось нагим: на ней была одна рубаха, перевязанная ниже талии. Ее лицо в рамке

украшений из турецких и египетских серебряных монет, спускавшихся вдоль щек, казалось очень хрупким. На подбородке была ямочка с вытатуированной летящей птичкой. В ноздрю была продета сережка с черной бусинкой, похожей на родинку. Большие, широко-раскрытые, чистые, как у ребенка, глаза, казалось, занимали все лицо.

Я быстро пошел прямо к ней. Ее это не удивило, и она не закрыла лица. Она улыбалась. Она прочла на моем лице огонь желаний. Она знала, что ей не ускользнуть от моих об'ятий. И она ждала: она узнала меня. Ее ресницы дрогнули. Под темной тканью кожи горячо струилась кровь. Мои жадные нетерпеливые руки скользили по изгибам этого цветущего тела, по ее груди и округлым бедрам... Я сжал ее в об'ятиях.

Лежа на песке траншеи, куда мы скатились, я созерцал ее влажные губы, ее признательные глаза, всю ее обессилевшую, как ветка, прибитая ливнем, ослабевшую от усталости фигурку. Покрывало соскользнуло с головы, и я увидел короткие курчавые волосы. Я сладострастно погрузил в них пальцы. Она свернулась клубочком и прильнула ко мне. Ничуть не стыдясь, чистым, как у ребенка, голоском она говорила, как трепещет ее тело от моего мужественного порыва, как она теперь стала моей, а я — ее господином.

Точь-в-точь фельетонный роман! Меня душила ирония. Я чувствовал весь комизм этого приключения. Ну, кто мне поверит потом, если бы я

вздумал рассказать, что со мной случилось? Бедуинка, пустыня, финиковые пальмы, случайная встреча и — без лишних слов — бездна страсти! А в голове закружились безумные образы, а по жилам заструилась какая-то новая сила! Мне как-то унизительно сознаться, что этим волшебством я обязан хрупкой уступчивой бедуинке. Я снова овладеваю ее губами и прижимаю к себе ее тело с какой-то глупой гордостью, как свою собственность, которую никто не может у меня отнять. Я уже почувствовал права на эту женщину только потому, что ее тело насладилось моим.

Всю дорогу в лагерь я нюхал свои пальцы, как нюхают букет цветов: на них сохранился аромат ее груди, они погружались в ее волосы. Я смотрел на горизонт, как на свои владенья, я снова слушал влюбленный голосок этого ребенка, который я припрятал у себя в сердце: ведь она напоила меня из источника жизни и вернула мне гармонию и душевное равновесие. Я уходил, как пророк, которому явилось божество.

Бледные отблески света падали и сгущались вокруг меня. Звук разбивающихся о берег волн становился отчетливее и длительнее. Извилистые линии дюн исчезали. В этой обнаженности первобытных явлений природы я представлялся самому себе обладателем сказочных богатств. Стряхнув с себя бремя забот, мысль о неизбежной смерти, я достиг высочайшего предела блаженства. Мелодия моей жизни звучала в такт мелодии мира.

XVI

Рабочие возвращались в лагерь, когда сумерки уже переходили в ночь. Как воды бурливой реки, выливались их ряды из финиковой рощи, легкие и прозрачные верхушки которой качались, как золотистые крылья, а неясные в сумерках стволы толпились в тесной близости друг к другу.

Люди шли, отяжелевшие от жары, терзавшей их под мешками с песком. Горло их пересохло; тело и лицо зудило от приставших к потной коже песчинок.

Побрякивающие на ходу котелки, нарастающий гул толпы, отдельные голоса, вырывающиеся из нее, чтобы тотчас же растаять в воздухе, — как я со всем этим сжился и какую все это будит во мне нежность, нежность, которой нет равной, я это знаю, хоть и не умею ее точно определить. В несущихся над нами звуках песни «Кам-лейла-у-камийом»[1], в этих однообразных, раздирающих нотах сливаются все их тоскующие души.

Вслед за последними рядами, кряхтя, шагают водоносы. У них запавшие виски, выражение глаз, как у волов, тянущих плуг на пашне, шары мускулов на ногах. Они несут попарно на палках, идущих с плеча одного на плечо другого, цинковые резервуары с водой, словно в них тяжесть всех скорбей их товарищей по несчастью.

---

[1] «Сколько еще дней и сколько ночей».

Выстроенные отряды ждали с напряженными лицами, в нетерпеливых позах. Их слившиеся тени лежали на песке как ленты. Абд-Эль-Лятиф не выдавал пайков. Сержанты и «частные», сдвинув ноги, застыв в неподвижности поз «по уставу», глядя прямо перед собой, тоже ждали, стоя лицом к «своим людям».

Застегивая на ходу кушак, из своей палатки вышел командир. Воцарилось глубокое, таящее в себе вызов, молчание. Он был рыжий. У него были жесткие голубые глаза, казавшиеся фарфоровыми. Нервным жестом он то сгибал в дугу свой стэк, опираясь на него, как на палку, то пощелкивал им себя по голенищам рыжего цвета. Лицо его было замкнуто, а взгляд прятался под густыми бровями. Душа, вероятно, свернулась в нем, как червяк в испорченном плоде. Он беспрестанно покусывал подстриженные над углами губ усы, а его беззубый рот чернел, как отверстие его трубки. После того, как он прочел гнусавым голосом с шотландским акцентом какой-то приказ, который один из капралов перевел на арабский язык, из рядов вышел и направился к другому отряду какой-то гигантского роста негр с удлиненной головой, со шрамами вдоль обеих щек, с дряблыми изогнутыми губами, тощий и нелепый, держа подмышкой плеть из воловьих жил.

Он набросился на одного из рабочих, стараясь схватить его в охапку своими тонкими, как у скелета, руками. Завязалась глухая жаркая борьба.

Рабочий отбивался, стараясь в свою очередь дотащиться до ноги офицера. Он стал отчаянно его заклинать, сопровождая свои мольбы обещаниями, благословениями, раскаянием, призывая пророка и клянясь головой детей и самого офицера, что он невинен. Он плакал и просил пощады.

Но негр ловким движением скрутил ему руки за спину, связал сперва их, потом и ноги и с безжалостной грубостью бросил его ничком на землю.

Крики несчастного, теперь уходящие в песок, стали глухими. Возмущенный этим выражением неповиновения, офицер набросился на него и встряхнул его, как вещь. Насмешка скривила его губы...

Это потрясающее зрелище врезалось в мой мозг, как гравировка в сталь. Я напрягал зрение всей силой воли. Я хотел увидеть все, не потерять ни одного движения, ни одной подробности. Я хотел проникнуться этим зрелищем, как упиваются листвой, насыщенной светом и полной птицами. Я не давал места никаким размышлениям и душил крик, рвавшийся из сердца. Я старался не замечать ясного вечера, в котором, казалось, должно было растаять само представление о злобе и могла остаться одна вера в безграничную доброту.

Негр нагнулся к лежащему, развязал веревку, стягивающую его шаровары, и обнажил его тело по колена. Сжав челюсти, офицер поставил ногу на спину истязуемого в том месте, где были привязаны кисти его рук, чтобы прекратить судорожные

подергиванья своей жертвы и сделать ее неподвижной. Он отдал короткое приказание и начал считать по-арабски: раз, два. Негр взмахнул плетью, со свистом разрезавшею воздух. Истязуемый испустил вопль и, всем телом врываясь в песок, стал хватать его зубами, набрал его полный рот, кусал его, посылал в него свою жалобу, словно призывая на помощь кого-то из-под земли. Он напоминал умирающее животное, которое решили прикончить. Потом его страдальческий голос, охрипший и надорванный, стал прерываться. Негр продолжал наносить удары, чередующиеся с командой, произносимой гнусавым голосом офицера.

Щелканье плети пробуждало другие щелканья, которые ширились, повторялись и наполняли всю пустыню.

Когда пятнадцатый удар упал на бесчувственное тело, офицер, весь в пятнышках крови, которая брызгала из длинных багровых ран, открывшихся на ляжках истязуемого, оставил свой пост. В его глазах блестела радость садиста. Приняв величественную и вызывающую позу, он молча указал отрядам на подвергнутого пытке, как на пример... Он выполнил до конца дело слуги его британского величества.

Двое рабочих развязали и понесли в палатку полутруп с закатившимися глазами, с широко открытым ртом, из которого свисала нить окровавленной пены.

Роздали довольствие. Рабочие повыходили из рядов и разбрелись кто куда. Вид этого наказания их не особенно смутил: оно было для них ежедневным зрелищем, и редкий не носил следов плетей.

Офицер, все так же покусывая усы и похлопывая стэком по голенищам, щеголяя безукоризненной выправкой и олимпийским равнодушием, отправился в «собрание», чтобы вытянуться там на шезлонге, потягивая «виски с содовой».

Мойше возмущен бездействием и скукой, в которой нас держат здесь, между тем как английские и австралийские части идут в победоносное наступление. Его преследует и выводит из себя звук канонады, доносящийся со стороны моря. Каждый пролетающий в лазури аэроплан приводит его в восторг. Жажда действовать пожирает его, и он уже едва владеет собой. Он во всеуслышание кричит, что, если нас не отправят немедленно на фронт, он дезертирует, чтобы присоединиться к передовым частям. И не он разве недавно побуждал нас подписаться под заявлением на имя нашего полковника, которое заклинало его разрешить нам принять участие в операциях в Палестине? Этот документ так и не попал в высшие сферы и имел только одно последствие: у всех, кто его подписал, удержали однодневное жалованье.

«Только еврейскому батальону должна принадлежать честь водрузить первое знамя на стенах Священного Города; сыны Сиона должны первыми взяться за истребление неверных, попирающих

землю праотцев. Какое издевательство сидеть здесь, сложа руки, и дожидаться, нося этот мундир и эту эмблему! Нужно, чтобы наша кровь послужила цементом для храма, который вознесется к небесам. Нужно, чтобы сердца юношей исполнились мести и ожесточились от ненависти, и чтобы неприятель бежал от нас, как тучи, гонимые ураганом. Что значит умереть? Умереть за Палестину, ведь это — единственная слава! Неужели наше дело — греться на солнышке, начищать на мундире пуговицы, ждать выдачи пайка, проделывать ежедневное «учение» и остаток дня валяться на песке или у себя в палатке? Да разве это нам обещали, когда заставляли нас принимать присягу на библии? Позор, позор, трижды позор!»

Действительно, эта продолжительная стоянка в оазисе ничем не об'яснима. Батальон в полном порядке, в боевой готовности и давно уже должен был себя проявить. Его название должно было выделить его на первую линию. Можно бы было широко использовать геройский дух и самоотверженность, опьянявшую нашу молодежь; крайним и преувеличенным ее выразителем являлся Мойше. Он был полон неразмышляющего пыла, который, охватив человека жаждой отдать себя целиком, увлекает за ним и остальных.

Его пламенная душа рвется и заставляет его ненавидеть покой пустыни, располагающий к снам наяву и парализующий волю. Вероятно, из-за этого он совсем перестал выходить из своей палатки.

Он превратил ее в какую-то келью, куда замкнул свое возмущение. Даже по вечерам, когда тени приносят немного свежести и легкий ветерок нежно ласкает лицо, видно, как он, сжимая кулаки, с озабоченным челом перелистывает библию при свете свечи. А чаще он словно прислушивается к чему-то. Тогда он становится неузнаваемым. Он весь тогда во власти живущего в нем демона, управляющего его поступками.

Тогда он переходит от группы к группе, из палатки в палатку, сея слова неповиновения.

Его красноречие стремительно, как огонь, пожирающий сухой кустарник. Он напоминает какого-то исступленного пророка.

И действительно он подчиняет.

Это взрыв силы, опрокидывающий все на своем пути. Он указывает на нерешительных, на «паршивых овец», портящих стадо, и на начальников, не желающих свернуть палатки и оторваться от хорошего стола и от беспечной жизни.

Но он больше не находит во мне горячего последователя. Сомненье уже давно закралось в мою душу и подрывает авторитет той внутренней силы, которая делала из меня несколько дней тому назад фанатика. У меня явилось желание разобраться в вопросе об ответственности за эту бойню, и хотя в моем распоряжении нет ни документов, ни подробностей, но моя интуиция черпает мощную и глубокую истину из источников моего существа, единственных моих руководителей.

Мойше, чувствуя с некоторых пор, что я сопротивляюсь его влиянию и заглушаю борьбу, которую он хотел вызвать во мне, чтобы в моем сознании взошли семена для жатвы славы, избегает со мной встречаться. Уже несколько раз он ясно обнаруживал признаки задорной антипатии. Разрыв произошел внезапно, несмотря на беседы, чаровавшие наши вечера на пороге моей палатки. Наши мысли не проникают больше друг в друга. Я стал его избегать. Он сделал несколько попыток вновь меня завоевать, но был только еще больнее уязвлен своей неудачей, и его враждебность еще более возросла. Эта душа солдата, проголодавшаяся по убийству, эта чудовищная душа, для которой война является проявлением религии, открылась передо мной во всем своем ужасе, и я себя спрашивал, как я мог хотя на один миг связать себя с этим человеком в общем стремлении к идеалу? Теперь, когда я разорвал завесу, когда я понял эту зловещую комедию, Мойше напрасно будет стараться разжечь огонь, чтобы пробудить во мне зверя; как бы он ни взывал к самым моим чистым чувствам, которые я посвящаю памяти моего деда, я больше не позволю ему проникнуть в мое сердце. Но я вижу предостерегающую меня иронию в углах его тонких губ. Ибо из нас двух не он ли окажется сильнее? Не придется ли мне подчиниться в любой час, когда мне прикажут убивать? И я буду убивать, если не захочу быть убитым. Инстинкт жизни

возьмет верх: я буду защищаться. Другого выхода быть не может. Я пленник в железном кольце, сжимающем мой хребет. Батальон двинется, и я покорно за ним последую; нас загонят в окопы; я туда спущусь, и там, будь я храбрецом или трусом, удастся ли мне отогнать от себя отвратительное лицо смерти? Ведь я хочу жить...

XVII

Деревня Эль-Ариш, вся песочного цвета, тянется вдоль дюны. Ее минарет словно трепещет от белизны. Ее окружают скрюченные смоковницы, листья которых едва начинают разворачиваться. Это — оазис, стоянка, тенистый уголок возле водоема. Глаз, уставший от безбрежного однообразия, с наслаждением отдыхает на зелени, на воде и радуется нескольким клочкам земли, которые бедуину удалось обработать. Вдали на горизонте розовеют и отсвечивают холмики, которые бегут вдаль, образуют своды и теряются в извилинах. Уныние! Тишина! Деревня почти пустая. Несколько женщин приходят зачерпнуть воды. Проходит лохматая собака с поджатым хвостом и высунутым языком. От цитадели, разрушенной бомбардировкой, осталась только груда развалин. Ее тень похожа на длинную синюю лужу; в ней хорошо бы поспать! Голоса! Английский патруль. Муэдзин! Весь Восток в этом призыве к лазури. Пение муэдзина растворяется в воздухе... Тишина! Стих из

корана тихо повторяется во мне. Глаза засыпают, и расцветают сновидения...

XVIII

Вокруг «вадди», на верхушках дюн воздвигнуты укрепления Эль-Ариша... Странные подземные деревни, устроенные из наполненных песком мешков, великолепно наложенных друг на друга, извиваются зигзагами под защитой заграждений из колючей проволоки... Теперь они почти все засыпаны, но то, что еще осталось, показывает, сколько терпенья, упорства и сообразительности понадобилось британской армии, чтобы их соорудить.

Чем ближе к полям сражения, тем чаще встречаются места расположения прежних лагерей, круги более твердой земли (это места, освобожденные от палаток), пустые коробки из-под консервов, походные кухни, сделанные из кирпича и толя, склады амуниции, платформы для артиллерии, построенные из мешков с песком, окаменевшим от воды и жара, перекладины, ломы, кирки, заступы для постройки бараков. Солнце бросает на все это свое пожирающее пламя, а море убаюкивает эти призраки смерти.

XIX

Хрупкая и скудная растительность, внезапно встречаемая после продолжительной ходьбы среди

засухи и жары, бросает на песок тенистые пятнышки. Я в восхищении от этих злаков и недолговечных цветков, семена которых случайно занес сюда ветер... Побелевшая и потерявшая листву смоковница, у подножья которой растет колючий кустарник и живет целая колония муравьев. Финиковое дерево, тонкое и гибкое, стремящееся вверх, как античная колонка. Его листья кажутся чеканными — и тень так ясно выделяется на песке, как будто она нарисована карандашом. Уголки, где вровень с землею растет нежная травка, иногда со звездочками маргариток или анемон... Дюны, увенчанные кустами алоэ, гармонично соединяющимися в ожерелья... Куски Средиземного моря между двумя холмиками, которые любуются собою ранним утром.

XX

Они ритмически спускаются от деревни к финиковой роще, держа кувшины в равновесии. Они следуют одна за другой с движениями рук и покачиванием бедер, такими нежными и будто изученными, как прелюдия к танцу... Пальмы их окаймляют и обмахивают. Они останавливаются перед водоемом и черпают воду посредством «шадуф». Библейское видение. Как только проходит мужчина, они закрывают половину лица и смеются звонко и лукаво. Их тело под синей рубашкой, наверное, по-кошачьи гибкое и прекрасное, наклоняется

и выпрямляется с каким-то сладострастьем. Они возвращаются. Их тонкие ноги мокры. Они проходят между финиковыми пальмами, таинственные под тяжестью влажных кувшинов. Их бедра покачиваются, и черные покрывала, скрывающие косы, спускаются до земли и развеваются. Это шествие женщин в одиночестве наполняет меня истомой.

XXI

Финиковая роща в своих самых отдаленных извилинах, там, где окопы подняли, изрыли, изрубили землю, обнажая корни пальм, повисших, как волосы, познала игры наших тел и слова нашего желанья... Здесь мы были далеки от тропинок, ведущих в самое сердце леса, и пальмы до того переплелись, что никто не мог заподозрить нашего присутствия. Это было точно легкое и воздушное гнездышко, откуда виднелось вечернее небо и скользящие по нем, тающие облака. Согнувшиеся молодые пальмы касались песка. На листьях весело играли лучи. Горлицы себя чувствовали там, точно в священном храме. У них был цвет глаз моей возлюбленной, их коралловые лапки похожи были на ее губы, их страстное воркование напоминало ее томный голос.

Наша любовь обострялась от окружавшей нас опасности: от опасности быть неожиданно застигнутыми в нашем уголке солдатами, шатающимися где попало в поисках женского тела, или же

случайно забредшим в наше убежище пастухом козьего стада. Мы вздрагивали, затаив дыханье, от малейшего дуновения ветерка, коснувшегося пальм, от появления насекомого или птицы, от слишком близко послышавшихся голосов. Но лишь только снова воцарялась тишина, мы опять отдавались убаюкиванью часов, не замечая пепла, который они оставляли за собою.

Эта бедуинка стала для меня воплощением восточной сказки, претворенным в действительность образом дремавшей во мне, помимо моей воли, романтической поэзии. Я жил в непрерывном очаровании, в ощущении возврата юности, которым дарит нас единственная в мире сила — сознание, что нас любят. Никогда еще я не был так охвачен чувственной страстью. Ее огонь сжигал мою кровь, не оставляя мне времени подумать, что этот факел быстро гаснет. Предрасположенный и раньше, несмотря на все усилия подавить в себе эту мозговую возбуждаемость,—к творческой способности по своей воле вызывать в себе разные переживанья, переноситься мыслью в излюбленные эпохи, воображая себя их сыном, теперь я не мог устоять перед искушением всецело отдаться сладострастному раздвоению личности и чувствовать себя то бедуином, то халифом, то магом, то владельцем длинных караванов.

У меня не было к ней той нежности и страстной преданности, в которых сердца больше, чем чувственности, когда душа утопает в бесконечной

признательности за одно то, что возлюбленная жива и что она здесь. Меня исступленно бросало к этому телу страстное желание найти в нем какие-то неизвестные еще наслаждения, желание, подобное привязанности курильщика опиума к своей трубке — источнику пламенных безумств. К тому же и ей были чужды все эти сантиментальные требования: жеманство, коленопреклонения, томные позы, нервирующая утонченность и изысканность ласк. Ей было понятно лишь полное обладание без антрактов, когда самец, как павлин, колесом распускает свой хвост, чтобы привлечь внимание возлюбленной или ее завоевать. Подчиняясь природному инстинкту, она пылко отдавалась всем телом, требуя законченной ласки. И замечая, как бледнеет мое склонившееся над ней лицо и дрожь пробегает по моим губам, она измеряла глубину той силы, которая приковывала меня к ней и делала из меня ее раба... Она отдавалась радостно: ей нравились грубые ласки, нравилось чувствовать себя побежденной, нравилось ощущать власть мужской силы, которая раздавливает и причиняет боль. Несмотря на раннюю юность, она владела всеми тайнами науки любви; ей были известны самые изощренные ласки; одним жестом, одним движением своих полных бедер, улыбкой глаз, обаянием губ она умела оживлять и снова вызывать во мне влечение к себе.

Спокойно, без сожалений, с ясностью здорового зверя я опьяняю себя этим терпким вином.

Война... Люди... Что все это в сравнении с руками этого ребенка, обвившимися вокруг моего тела, и с этим сладострастием, от которого я падал, изнеможенный и опустошенный, на песок, ища в песке прохлады для своего пылающего тела.

XXII

Их шествие тянется, как узор развертываемой пестрой ткани. Каждый несет на спине наполненный песком мешок, тяжелый, как свинцовая глыба. Пот струится у них по телу, роет впадины на землистых лицах, обжигает глаза. Они одиноки под этим безжалостным палящим солнцем. Они так жаждут хоть глотка свежего воздуха. Только их тени идут вслед, как собаки. Никакой передышки. Мешки за мешками нужно сбрасывать в вагоны. Они в кольце волнистых холмов, сливающихся с горизонтом. В распахнутые ворота рубашек у них видна грудь, мускулистая, загорелая и лоснящаяся, как смазанная маслом. Иногда их охватывает неожиданное, легкое, как прикосновение невидимой ветки, дуновение ветерка, и их ноздри жадно стараются уловить в нем запах далеко моря.

От самой зари, когда песок еще чуть теплый, а зубы щелкают от холода, и до позднего вечера, одевающего их темнотой, они выбиваются из сил, передвигая дюны, срезая их, уродуя. Капралы подгоняют их дубинками, как когда-то они сами подгоняли буйволов во время полевых работ.

Они подчиняются и все принимают с покорностью. Ни намека на протест ни во взгляде их, ни в сердце. Их осыпают оскорблениями, которым не найдется равных по цинизму ни на одном языке, оскорблениями, разнообразными, утонченными, язвительными, следующими одно за другим с невероятной виртуозностью и разбивающимися об их фатализм. Жаловаться, возмущаться? Они отлично знают, что единственным результатом всяких жалоб и протестов будет плеть. Некоторые дезертируют, примыкают к какой-нибудь шайке бедуинов, но, проблуждавши несколько недель по пустыне, возвращаются, голодные, в лохмотьях, и их нещадно стегают плетьми под сочувствующими взглядами всего отряда. Другие со станции на станцию пробираются до Кантары, чтобы там, валяясь у ног своего полковника, вымолить разрешение вернуться на родину. Наводятся справки, производится расследование, и в заключение те, кто несет ответственность, получают основательную головомойку при закрытых дверях, а жалобщик направляется в тюрьму, на каторжные работы...

Дюны осыпаются, словно подточенные тысячами мышей, а мешки все наполняются и опоражниваются. Они поют. В песне они находят убежище, как в «неприкосновенности жилища». В словах и звуках этих песен свободно высказывается их душа, и ни для кого-то она недоступна. Здесь они полные хозяева. Их лица улыбаются и, быть может,

они меньше ощущают свое рабство и боль от подушек. Запевала, занимающий привилегированное положение, так как вся его обязанность только петь, побуждая этим к работе, поет о родине, о домашнем очаге, о радости возвращения домой, а они отвечают припевом, таким знакомым, таким раздирающим и таким печальным: «Кам-лейла-укам-йом».

Пронзительный свисток повторяется эхом до самого горизонта: лопаты, кирки, мешки для песка летят куда попало. Ряды сбиваются с наслаждением, точно люди неожиданно вырвались на свободу. Сколько движений, сколько криков! Словно школьники выбегают из училища. А двадцать пять нагруженных ими вагонов вздымают округлые горбы, как цепь микроскопических дюн. Их еще придется разгружать там, вдоль полотна железной дороги, где нужно сделать насыпь. Но зато это уже последняя работа сегодня, а там — отдых для мускулов, очарование ночи и беседы с друзьями из родной деревни, черствый хлеб, который, хоть и похож на черную глину, кажется таким вкусным, когда его обмакиваешь в густой суп.

Второй свисток. Кривляясь, как клоуны, с шутками, дурачествами и забавной неловкостью они взбираются на площадки вагонов. Поезд трогается, вагоны сталкиваются. День склоняется к вечеру. Пески утратили свой ослепительный блеск. В углублениях дюн появились легкие тени. Неожиданно открывается ослепительное море. Его берег,

более светлый, чем пустыня, оторочен белой кипящей пеной. Легкий ветерок высушивает пот и облегчает душу. Их всех привлекают волны. Море им кажется мощным чудовищем. Они не могут свыкнуться с его многоголосым шумом, с его таинственной бесконечностью. Железнодорожное полотно тянется вдоль берега. Они врезываются в финиковую рощу. Поезд останавливается: он в плену у пальм. Они открывают вагоны. Песок льется из них, как густая золотистая вода, и откос становится выше. Уже поздним вечером, изнуренные, с пересохшим горлом, они возвращаются к себе в лагери все же с песнью на устах.

XXIII

Дни следуют за днями, и их монотонное чередование вливается в меня, как светлая струя источника, где я с улыбкой вижу свое отражение. Я хотел бы, чтобы эта остановка у дюн, подле финиковых и фиговых пальм затянулась подольше, чтобы заржавело данное нам оружие, чтобы уцелела вся эта молодежь, нетерпеливо стремящаяся навстречу смерти... Пусть бы забыли нас здесь, пусть бы ни один приказ не приходил ударом топора разбить покой этих жизней, словно укрывшихся здесь от урагана.

Однако сам я не покажу примера неповиновения или дезертирства. Я не постараюсь

осуществить это тайное желание своего сердца. К чему? Я не антипатриот и не пораженец. Я выше всех этих теорий; я их всегда избегал. Я скажу только, что вся эта война сначала и до конца была задумана и организована международной группой бандитов всех национальностей, побуждаемых ненавистью и жаждой наживы. Я только скажу, что преступно было воспользоваться нашими силами и нашим благоговением перед всем, что прекрасно, для того, чтобы заставить нас истреблять друга друга.

Истребить царство любви, когда, в сущности, мы так жалки и нам так нужно, чтобы протянутые нам навстречу руки были согреты нежностью! Истребить царство любви тогда, когда скрещивающиеся взгляды уже не косятся так враждебно, когда мы уже потребовали, чтобы стали свободными все пути человеческие!..

Пламенные минуты!.. Минуя горизонт, мы вглядывались друг в друга, чтобы друг друга понять, чтобы сблизиться, а сами все еще крепко держались, как вкопанные, за землю, давшую нам свои соки и лазурь своего неба; мы боролись за то, чтобы мысль стала нам общим хлебом насущным, и вот мы сами с каким-то бешенством душим эти прекрасные порывы, все это великодушие, точно желая наказать себя за то, что так ярко вспыхнули было наши сердца.

Для чего я все это пишу? Не лучше ли отдаться приветливой улыбке судьбы и ждать, как

развернутся события? В этом уединении, где мысль лишь слабо волнуется, а душа сливается с убаюкивающей и созерцательной природой, не обязан ли я похвалить себя за то, что я здесь, и разве я не счастливый человек?

Пустыня сплетает вокруг меня свои пламенные часы. Самоуглубление исходит из уголков моей палатки, как свет. Я снова отдаюсь мечтам. Несмотря ни на что, я остался тем, кого волнуют листья, птицы, поэтом, подслушивающим в тайниках своего «я» пение сирен и с улыбкой любующимся хороводом пляшущих вокруг него фей. Все эти образцы—источник, питающий мою жизнь. Были минуты, когда я думал, что высохло все это, как осенние листья, что никогда не услышу я в своих мечтах звуков мистического леса, но это было только временное затишье. На пороге своей палатки я вижу лик жизни, без единой морщинки, младенчески невинный, и, сжав голову руками, я впиваю свежесть песков, как элексир жизни. Если бы не этот мундир и не проволочные заграждения вокруг лагеря, можно было бы отдаться мечте целиком, без толчков, без препятствий, без забот.

XXIV

Азиза ее имя. Когда она мне его в первый раз сказала, я почувствовал, как птицы защебетали у меня в горле. Всегда это имя будет вызывать

передо мной ее лицо с серьезными глазами, улыбающимся ртом и татуированным подбородком— птица с распростертыми крылышками, которые я так люблю.

Когда я называю ее по имени, мой голос колеблется, как цветок, отяжелевший от слишком пышного расцвета, и я бледнею.

Но все же она не овладела моей жизнью настолько, чтобы сделать все ее трепетанья своими.

Ее появление не поработило меня, и я продолжаю предаваться своим размышлениям где-нибудь на побережьи или в дюнах; их не смущает часто являющееся у меня желание вытянуться подле нее и почувствовать, как вздрагивают пробужденные моей страстью упругие груди, бедра, живот. Я не знаю, стал ли бы я страдать, если бы, придя к финиковым пальмам, не увидел ее стремящейся ко мне фигуры или если бы узнал, что она дарит свои уста другому. Эти предположения меня не терзают. Я живу минутой, которую она мне дарит, и эта минута не имеет предела, и нет в ней ни грусти, ни сознанья, что она кончится и станет мертвой и бесплодной, как эти песчинки. Я знаю, что тела двух любящих ткут проникающие вглубь нити, которые нельзя разорвать даже после того, как разлука раз'единила тех, кто отдавался один другому во всей наготе; я знаю, что отображения об'ятий отпечатлеваются в нас и, спустя годы, возникают из мозга наших костей и преследуют нас по ночам, когда руки становятся влажными, а глаза

расширяются и когда, тщетно взывая, хочешь уловить голос любимой. Но я не боюсь этих отзвуков, хранимых памятью чувств. Я сохраню во всей полноте свое «я» таким, каким оно было всегда, и тело Азиды не будет преследовать меня своими извивами, и ее глаза не станут звать меня в углубление, сделанное нашими телами в траншеях, в тиши пальм... И когда мне придется ее покинуть, она станет для меня одним из легких солнечных образов, носящихся в моем воображении и исчезающих, чтобы умереть... разве я знаю где?..

Нет, я не раб страсти. Любовь не сводит меня с ума, не порабощает, не ослепляет. Мне даже кажется, что я неспособен любить, не из душевной черствости, но в силу привычки анализировать каждое ощущение при самом его зарождении, не давая ему разгореться самопроизвольно и молниеносно. Я могу вибрировать только от опьянения, созвучного атмосфере, в которой текут мои мысли. И потом, любовь не является для меня жестоким богом, требующим безраздельного поклонения, требующим, чтобы я в течение всей жизни слепо исполнял его неумолимые веленья. Я не создаю из женщины цель своих честолюбивых стремлений, я не идеализирую ее. Во мне звучат призывы к другим проблемам, которым я отдам жар моей крови. И, говоря откровенно, человечество, жестикулирующее и извивающееся со скрюченными пальцами, мокрыми губами и бесстыжими глазами около тела женщины, всегда меня возмущало.

А в данный момент Азиза мне дорога бесконечно. Она красит мое одиночество и мои мысли, как не приносившая еще плодов виноградная лоза, золотящая вход в дом. Она обогащает меня своей красотой, извилистые контуры которой повторяют извечный прообраз. Ее голос, ее кожа, позолоченная солнцем, ее медленная, как бы усталая походка родят во мне созвучья, которые я ощущаю так, словно я сам их создавал. Она посвящает меня в свою жизнь, я черпаю из нее мелкие события; их нить питает мое любопытство, обостряет и изощряет его, действует на него, как ее губы и умелые пальчики на мое тело.

XXV

Дождь барабанит по моей палатке. С воем дует ветер с юга. Ураган разошелся вовсю. Песчаные волны смешиваются с капельками. Вместо неба какая-то лавина из тяжелых—то сбивающихся в кучу, то вытягивающихся облаков, которые то странно громоздятся друг на друга, то делятся слоями, то повисают, как лохмотья. Теплота щекочет ноздри. Темно. Моя черепаха высовывает свою старушечью головку в вечных поисках выхода, ведущего на свободу. У нее совсем светлый щит и пронизывающие глазки.

Я слушаю песню дождя, наполняющую меня грустью. В памяти встают обрывки прошлого...

Не знаю, почему — вспоминается детство, огорчения...

Меня обволакивают мысли серенькие и нежные. Дождь превратился в хрупкую мелодию, которая словно сейчас должна умереть. Сквозь прорывы в тучах проглянуло небо. На горизонте убегают последние разметанные ветром облака. Освежились и покрылись позолотой дюны и радуются реденькие травы.

XXVI

Тяжелые лиловые облака плывут по лазури неба. Угасло великое пылание пустыни. Пески как будто выцвели. Они стали тусклыми, подернулись восковой бледностью. Горизонт словно сузился: его расширял буйный и неукротимый свет. Зелень, та самая зелень, которая была вся покрыта искрами, вся сверкала,—теперь стала пыльной. Великая печаль еще более сгустила бесконечную грусть этого одиночества. Глаза погружались в лучистую красоту, улетали к ней, купались в ней, а теперь этот внезапный траур покрыл пеплом их зрачки. Тени от облаков бросают на песок пятна, которые медленно передвигаются и ласкают меня шелковистыми прикосновениями. А сами облака уходят туда, на восток, нагромождаются там в виде чудовищных сооружений и потом исчезают. Солнце опять одевает все пространство в свои легкие ткани, и снова все вибрирует в музыке света.

XXVII

Финиковая роща! Я каждый день ее пересекаю, идя по «вадди». Когда я попадаю в ее теплый уют, мои мысли становятся ясными, наивными, как пастушеская песенка, и детски непорочными. В ней ласка белых рук и мимолетные прикосновения парящих за мною следом крыльев.

Свет, просачиваясь сквозь пальмы, становится зеленым, как в аквариуме, а лазурь льется, как источник, текущий без волн и без журчанья. Я хотел бы никогда не покидать этого оазиса, я хотел бы на всю жизнь остаться здесь, под этими стремящимися ввысь стволами, в этом царстве живого пурпура. А почва под ними вся осквернена, изрыта, замучена, вся в извилинах, в лабиринтах, в узких проходах: это траншеи. Финиковые пальмы стоят как на островках, и их обнаженные корни повыступали из песка. У них было основание ненавидеть, их пощадила людская жалость. Под их тенью происходила бойня. Их медвяные плоды освежали сражающихся, а жужжанье пчел в бреду воскрешало в их памяти другие плоды, созревающие в других, далеких садах. Пальмовая роща тянется до самого моря. К самому его берегу склоняются пальмы в какой-то гармоничной истоме, и их легкий шелест, напоминающий шум мелкого дождя, вливается в музыку волн.

XXVIII

Все гармония в финиковой пальме. Она окаймляет пейзаж, дополняя симфонию линий и красок. Этот гибкий, стремительный порыв к свету, этот расцвет в лазури, подобный чаше, подобный жертве, возносимой к небесам, эта симметрия зубчатых листьев, очерчивающих ее контур. Налетит ветерок—и разом вздрогнет вся роща, со внезапным сверканьем, со стальными отливами, а потом пальмы снова тихо склонятся с легким ропотом, выпрямятся и замрут в неподвижности.

XXIX

Спускаются сумерки. Они плывут по финиковой роще, они пробираются во все уголки, по всем дорожкам, по всем траншеям и наводняют их своими серыми тонами и своим очарованьем. Бархатистые тени приникают к пальмам, и краски, блеклые, как на старинных фарфорах или на платьях маркиз, тянутся вдоль стеблей.

Какой-то звук!.. Пробежала белая мышка!.. Какое-то щебетанье!.. Воробышки возвращаются к себе в гнезда.

Постепенно тускнеют и исчезают и тени, и краски, и пятна света. Остается только бесконечность колоннады — и чудится, что она тянется до самого горизонта. Загорается и сверкает звезда. Ее отблеск скользит по пальме и серебрит ее.

XXX

Это было в то время, когда майор де-Ротшильд и лейтенант Липсей 39-го Королевского стрелкового полка, иначе еврейского батальона, предприняли кампанию по пропаганде и вербовке добровольцев в Египет и в Палестину, и когда преступная зараза, толкающая народы ко взаимоистреблению, коснулась и меня. До этого момента я еще боролся и находил в себе самые веские причины не вступать в этот адский круг, который все вертелся, вертелся... Я запирался у себя, чтобы не слышать криков людей, грозивших друг другу кулаками, сами не зная из-за чего. А иногда я начинал сдаваться, не будучи в силах устоять перед гипнозом борьбы, многоликий образ которой я встречал всюду, куда ни падал взгляд.

Националистические вожделения, обуревавшие моих единоверцев, не пробуждали во мне ничего, кроме любопытства. Я с жадным интересом изучал эту силу мечты, которая в течение длинного ряда веков поддерживала мой народ, сколько ни побивали его камнями, сколько ни оплевывали, сколько ни пытались удушить. Из простой фразы— «В будущем году в Иерусалиме» — они создали себе ритуал надежды, книгу утешений, примирившись с изгнанием в гетто и со всеобщим презрением. И вот тысячелетняя мечта приблизилась к осуществлению.

Какой-нибудь затерянный в непроходимую глушь Украины старик еврей в длиннополом сюртуке и с пейсами, знающий об Иудее только то, что открыла ему его ветхая библия, с непоколебимой уверенностью дожидался того дня, когда вновь соберется рассеянное стадо и вернется долго жданный пастырь, а земля, полная ароматных трав и освежающих источников, встретит сынов Израиля, сынов всевышнего, которые разобьют на ней свои шатры.

И когда, наконец, до него дошла радостная весть, что гойи [1] побеждены, — он не выразил ни малейшего удивления; только сердце его наполнилось торжественной радостью, как в праздничный день, когда пьют вино и читают священные слова.

Но в чем же дело? Оружие на службе у мечты; кровь, пятнающая мысли; надежда, ловко эксплоатируемая для того, чтобы выкачать из народа энергию и золото, а его мечтой воспользоваться для разжигания ненависти, для возведения между людьми новых неприступных стен и подготовки грядущих войн для тех, кто сегодня еще спит в колыбели.

Обрабатывать ту землю, где покоятся предки, создать там цветущие колонии, способствовать эмиграции, — конечно, отчего бы не так? И что может быть легче для того, кто так умеет сочетать

[1] «Иноверцы» на древне-еврейском языке.

мечту с действительностью, кто всегда создавал так много ценностей и духовных и материальных?

Но самим итти завоевывать, итти убивать во имя родины, поступать в вассалы из-за того, что у хозяина есть могущественный флот и хорошо вооруженная армия,—нет! Никогда!

И однако я вступил в еврейский батальон. И я попался в одну из бесчисленных сетей. И даже мой Тантах, крошечный городишко, приютивший меня перед началом военных действий, не смог укрыть меня от этого навождения. Каждый феллах, работающий на своем поле, заговаривал об ужасных сражениях, жадно допытываясь, когда же наконец прекратится эта бойня. И нарушен был покой полей, засеянных бобами и «берзимом» [1].

Поэмы, периодические издания, газеты, разговоры, списки убитых, письма от друзей, рассказы о геройских подвигах, — все толкало меня на единственный для меня путь. Медленно кристаллизуясь, помимо моей воли росла во мне идеализация этой войны, как некоего крестового похода, и я уже с нетерпением стал ждать той минуты, когда, наконец, надену солдатскую форму.

Солдат!.. Это слово приобрело для меня то очарование, с каким мальчики с воинственным и победоносным видом скачут верхом на метле, с деревянной саблей на боку и в каске из старой газеты на голове.

---

[1] Клевер.

Надо было скорее действовать. Меня душило отвращение к самому себе от сознания, что я так долго не мог понять чувства нашей молодежи, со смехом идущей навстречу смерти.

Тщетно манил меня маленький городок своим уютом, своим очарованьем, своими досугами. Я узнал, что один еврейский офицер английской арми приехал набирать молодых людей, чтобы сформировать еврейский батальон. Я вздохнул с облегчением только после того, как спеша, не читая, желая только поскорее покончить с этим делом, чтобы избавиться от угрызений совести, я присоединил свою фамилию к его списку добровольцев. Не читая: не все ли равно, в какую армию я попаду; лишь бы стать одним из солдат, идущих умирать за великое дело.

XXXI

Азиза, это порывистое создание со внезапными нетерпеливыми вспышками, бегает, прыгает, отдается странным капризам, на долгие, долгие часы растягивается на песке, отдаваясь во власть неопределенных мыслей, в восторге замирает перед качающимся на стебле цветком, чтобы через минуту сорвать его жестоким движением, измять, искусать и, далеко отшвырнув от себя, убежать в пустыню. Охваченная инстинктом идущего на промысел хищного зверя, она тенью крадется по

дюнам, потом сразу сжимается в комок, словно собираясь прыгнуть на невидимую добычу, и неожиданно заливается искрящимся смехом, который подхватывает эхо. Ее глаза то становятся колюче-злыми, то широко раскрываются, вглядываясь в тайники ее души, которых сама она не понимает.

Ей знакома каждая тропинка, уходящая в пустыню, каждая дюна, гда растет душистая трава. Сколько она себя помнит, с самого раннего детства она всегда жила среди этих песков, на которые привыкла смотреть, как на свои владенья. Она не бродяжничала, как ее подруги, по Палестине или по Египту вслед за караваном. Еще девочкой она пасла стадо коз от серебристой зари до сумерек, когда начинают выть шакалы. Тогда-то она и привыкла к одиночеству, бессознательно избегая общества пастухов, не участвуя в играх со сверстницами. Она создала себе свой собственный сказочный мир: не умея его определить, она была им очарована, так как ее душу влекло к поэзии и фантастике. Сама не зная, откуда у нее берутся сюжеты, она рассказывала себе самой целые длинные истории, не доводя, впрочем, их никогда до конца. А в это время свет горячими полотнищами расстилался по песку, и волны разбивались о берег. Она была уверена, что земля кончается там, где небо опускается на пески, и всегда жила в ожидании какого-то невероятного счастья.

XXXII

Жара превращается в пекло. Она обжигает и ослепляет. Отражение солнечных лучей искристыми дорожками бежит по песку. Пустыня кажется раздавленной. Моя палатка превратилась в большой колокол из расплавленного свинца. Через ее открытый вход мерцает белый горизонт. У меня опустошен мозг. Я погружаюсь в небытие. Красные круги пляшут перед глазами. Я погружаюсь в небытие. Голова свешивается. Я по-стариковски покачиваюсь от тяжелой дремоты.

XXXIII

Их навербовали со всех концов долины, из сказочных провинций Люксора, из Миннеха, из Ассуана и из провинций Нижнего Египта. К ним прибавился всякий сброд изо всей скверной накипи городов: берберы со струпьями на лицах, разные бездельники и хулиганы, промышлявшие в туземных кварталах. Почти все они кишели вшами и заросли грязью. Из вагонов, куда их сваливали кучей, впервые увидев целиком всю свою страну, проехав через самое ее сердце, они были поражены ее размерами и, потрясенные своим необычайным приключением, спрашивали себя, какая же может ждать их участь. Но не успели они, подобно арестантам, оказаться по приезде отделенными от

мира оградой из колючей проволоки, как почувствовали, что их зовут обратно их осиротевшие поля, — и велика была их тоска по родине. Но они не соразмерили своих сил с теми, которые захватили их в свои лапы, и теперь стерегли, как пленников, их, свободных сынов кормилицы-земли.

За неделю пребывания в лагере эта враждебная сила укротила их, и рабство стало меньше тяготить их. Безропотно сносили они жестокое обращение, но не из душевной низости, а вследствие той нравственной силы, которую они умеют сохранять при всяких несчастьях, и той мягкости характера, которую за долгие годы иностранного владычества они приучились противопоставлять тирании своих повелителей.

Их загнали в самую глубь лагеря, как можно дальше от места расквартирования «чинов». Их палатки вытянулись безукоризненно-симметричными рядами. Солнце печет. Им выдали рацион. Кругом валяется мусор. Сейчас сержанты пойдут отбирать людей для работы по кухне и для уборки лагеря. Вновь прибывших из деревень будут дезинфицировать.

Начинаются бакшиши [1]. За то, чтобы сделаться поваром, попасть к офицеру или к сержанту в денщики или получить должность ночного сторожа— вместо того, чтобы работать днем от зари и до зари, нужно заплатить кому следует. На все эти

---

[1] Взятка.

должности установлена такса и нечто вроде аукциона. Лучшее назначение тому, кто больше заплатит. С нижней ступеньки до верхней — целая лестница подкупов. Таким способом некоторые сделали себе состояние. Человек, будь он даже англичанином, не может устоять перед соблазном белых монет. И интриги и низости становятся разменной монетой. Жизнь, замкнутая, ограниченная этим неопределенным участком земли, несмотря ни на что, снова вступает в свои права, сталкивая и обостряя все эгоистические стремления.

Прибывшие из одной деревни инстинктивно стараются поселиться вместе, ища друг в друге поддержки и защиты, а также возможности потолковать о семье, об урожае, о скоте. В сущности, они никак не могут распутать цепь событий, заставивших их записаться. Теперь, когда их одели в холст защитного цвета, сознание, что они находятся здесь, окончательно их ошеломляет. Нет, им не свыкнуться с мыслью, что в течение шести месяцев каждое движение их тела должно быть подчинено уставу, что они больше не будут принадлежать себе, а, возможно, их заставят уехать еще дальше от родины, кто знает, в какую страну.

Как же вышло, что они сюда попали? Ах, проклятые вербовщики с их лживыми обещаниями, с предательским обхождением, которым они так ласково их заманили!

Они возвращались с поля в конце вечера, после молитвы на берегу канала, ведя за собою буйволов и коров. И вот, в тени вековой смоковницы, у входа в деревню, там, где обычно собираются для бесед, для продажи скота и для обсуждения новостей, занесенных из города, они увидали какое-то собрание. Важный эффенди, в золотой цепи, красноречивый и внушительный, вкрадчиво говорил:

— Я вам одно скажу: двадцать пиастров в день. Кроме того, у вас будет сыр, хорошее варенье, какое кушают европейцы, сушеные фрукты, масло, мясо, да какое мясо, друзья мои! — самых лучших баранов! Работать вы будете только по несколько часов в день, а, кроме того (здесь голос эффенди смаковал особенно каждое слово), у вас будут женщины, белые женщины, французские женщины, и будет их столько, сколько пожелаете!

— Уаллахи! Уаллахи [1]! Поразительно! Чудо!

Оратор остановился, чтобы проверить действие своего шарлатанского выступления. Образовалось несколько групп; голоса воодушевлялись; обсуждали, взвешивали. Вопили женщины, жалобно пищали дети. Можно было подумать, что это понедельник — базарный день. Эффенди стал обходить отдельные группы, напоминая, об'ясняя, развивая во всех подробностях, сколько из этого

[1] Во имя господа.

можно будет извлечь всяких прибылей. Он пускал в ход все средства убеждения, так как за каждого новобранца получал от британского правительства довольно крупную премию. Те, кого удалось поколебать, шли за ним, пока еще не решаясь дать окончательное согласие. Но у него был наметанный взгляд. С неутомимым терпением он все повторял:

— У вас будут женщины, французские белые женщины, и столько, сколько пожелаете, — словно нанося этим последний удар их сопротивлению.

Приведя их, с офицером во главе, в Марказ, чтобы, обмакнувши большой палец в чернила, они приложили его к рекрутским спискам вместо своей подписи, после чего им тут же выдали жалованье за три месяца вперед, он быстро исчез, спеша в другие деревни продолжать свою агитацию. Теперь, чтобы добиться большего порядка в работе и приучить их к дисциплине, их заставили проделывать военные упражнения. Стали вбивать им в головы иностранные слова команды, которых они не могли запомнить, так как они звучали дико для их уха. А если их ряды, «вздвоенные» или вытянутые в одну линию, были недостаточно стройными, или если вместо того, чтобы сделать «один шаг вперед», они делали два назад, на помощь являлась плеть.

Плеть — в роли цивилизатора и укротителя людей...

XXXIV

На опушке финиковой рощи, там, где арки из листьев, качаясь, заставляют передвигаться по розовеющему песку легкие, скрещивающиеся тени, по склону дюны сползает кладбище английских солдат, совсем маленькое, словно какой-то огороженный загон, с белыми надписями на покривившихся, а то и совсем упавших черных крестах. После ничем не нарушаемого покоя моих прогулок среди пальм, после душевного равновесия, делающего мудрыми самые ритмы моего существа, после торжественности тишины, от которой в душе теплилось благоговение,—из этого уголка на меня пахнула волна сырости, сжавшей мне горло, как в глубине подземелья. Здесь война сделала свое дело. Всю лазурь, хранимую мной в сердце, все волны, баюкавшие меня на своих вершинах, все мечты, сотканные в такт гармоническому чередованию дюн, — все поглотила встреча с этими могилами.

О, это не такое кладбище, на котором самые дорожки располагают к тихим, без примеси горечи, мыслям о том, что здесь забвение, здесь покой и тоже жизнь.

Нет, тут смерть, отталкивающая и омерзительная, какой ее изображают, преследует и угнетает кривляющимися виденьями. У меня вырывается крик негодования и богохульства. Мне начинает

казаться, что самая тишина здесь есть безмолвная жалоба на вопиющую несправедливость изрубленных, искалеченных или погибших от малярии и от холеры мертвецов. И я закрываю глаза, чтобы не видеть. Мне даже не жаль их. Печаль не смягчает мне сердце, когда я представляю себе их жизнь... Их жизнь!.. Окончить ее в этой дыре, в этой пустыне! Да ведь это—святотатство! Не могли же они не понять, в конце концов, обмана и лжи. Не могли не сознать, что их кости, побелевшие в этих песках, останутся бесплодными и не посеют в душах следующего поколения семян любви. Их геройство и их жертва — сплошная мистификация. Они не внушают мне веры, не будят во мне надежды. Они лежат правильными рядами, как в траншее, занумерованные и с ярлычками, как при жизни. Несколько холмиков, украшенных раковинами и засохшими пальмовыми листьями. А в углу сиротливая могила французского солдата, личность которого не могли установить. Над ним, качаясь, склоняются два рициновых дерева с широкими листьями. Жужжанье мух буравом сверлит жару. Эль-Ариш побелел от света. Маячит его минарет.

По высохшему «вадди» проходят тощие ослы, нагруженные мешками с удобрением для песков. Я вернулся в тень финиковых пальм, чтобы снова чувствовать их прикосновения, слушать, как воркующими голосами перекликаются горлицы, полные звуков едва расцветшей весны.

Я хочу заглушить в себе мысль, что, быть может, завтра и для меня там выроют могилу, не дав мне даже крикнуть, что я не хотел ваших ран, о, мои братья по ту сторону проволочных заграждений, которых я могу коснуться своим оружием; не хотел и своей смерти, которую меня заставят принять.

XXXV

Вначале, главным образом для того, чтобы получилось впечатление, будто египтяне, об'единенные общим порывом, массами встали на защиту своего поработителя — «Томми», в «Египетский рабочий отряд» принимали всех, кто только выражал желание в него поступить.

Правда, рабочих толкали к вступлению туда вербовщики да высокая заработная плата, и принуждения вначале не было никакого.

Всякий до тех пор, пока он не приложил к договору большого пальца, обмакнутого в чернила, мог, в случае колебания перед этой сделкой, еще одуматься и в последнюю минуту отпроситься обратно к себе в деревню. Но когда для первого контингента новобранцев истек шестимесячный срок, и они, исхудавшие, из'еденные лихорадками и ревматизмами, вернулись из Дарданелл, из Мудроса, из Мессопотамии и пели, и плясали, как исступленные, и целовали землю, преклоняя перед ней колена, и делали из своих грязных платков или

тряпок знамена в знак благополучного прибытия на родину и счастливого избавления; когда они рассказали о своих страданиях, о своем рабстве и о том, каким обманом оказались блестящие обещания; когда они описали работы на солнцепеке под ударами дубинок и мучительную жажду и могилы, оставленные там, далеко, — стон отчаянья потряс всю страну. Но он не тронул никого. Цензура стояла на страже и затыкала рты тем, кто мог сказать. Это было в те страшные часы, когда картечь сметала целые батальоны, когда под Верденом вырастали горы из разорванного в клочья человеческого мяса.

Требование на людей все возрастало. Англия двинулась на Турцию через Суэцкий канал. Начались операции в Палестине и в Сирии. Больше, чем когда-нибудь, нужны были руки, чтобы прокладывать железнодорожные пути, проводить трубы для водопроводов, грузить с'естные припасы и амуницию. Только «дуро» (по презрительной английской кличке) можно было запрячь в подобную работу. Они успели оценить его силу, выносливость и безропотное послушание.

Но известия, разнесенные по деревням демобилизованными, уже начали приносить плоды. По всей долине по вечерам на порогах жилищ, слепленных из ила и соломы, маленькие девочки повторяли то, что пели, переходя из деревни в деревню, бродячие певицы, и скорбные напевы, как причитания, плыли над полями: как милые сердцу ушли

с англичанами и сделались рабами и больше не вернутся, потому что умерли на чужой стороне. За что же?!.

О, скорбь этих импровизаций и этих нескольких нот, которые все время повторяются, как монотонный звук их «сакиа», медленно, медленно, как вытекающая по капле вода, с монотонностью навязчивой идеи!

Записываться почти перестали. Вербовщиков оскорбляли и били. Жизнь стала дорожать с каждым днем, и предлагаемая заработная плата оказывалась недостаточной; теперь она уже не могла играть прежней роли.

Военные власти удвоили свою деятельность. Попытались было вести пропаганду через туземных должностных лиц, но удалось уловить только небольшое количество рабочих, настолько загнанных нуждой, что им не предвиделось никаких средств к существованию, да еще несколько темных личностей с уголовным прошлым, которым на руку было исчезнуть. Прежде от каждого добровольца требовалось нечто вроде аттестата от местного начальства, удостоверяющего, что за данным лицом нет судимости; но когда заметили, что человеческая дичь перестает итти на приманку, всякие удостоверения нашли стеснительными и бесполезным и в армию открыли доступ всякому сброду из района, где ютились контрабандисты.

Раньше ненависть к англичанам жила лишь среди интеллигенции, составлявшей в стране

меньшинство, а теперь эта ненависть, воинственная, подкрепленная опытом, основанная на личных переживаниях, проникла в самые глубокие толщи народные.

Тогда пришли к крайним мерам, придуманным на случай, если запись в добровольцы провалится. Всю страну когтями сжал закон военного времени. Его спустили, как свору гончих с цепи. Поднялось забрало, скрывавшее стальные глаза, и вместо детского розового кукольного личика высунулась жестокая и властная британская челюсть, готовая перемолоть все препятствия, потому что велики ее аппетиты. Набор стал обязательным. В ожидании восстания заготовили вооруженную силу. Воцарился террор. Настало полное порабощение. Деревни были оцеплены войсками, людей хватали и приводили под конвоем в концентрационные лагери, не дав им повидаться с семьей, устроить дела. Мужчин, не только молодых, но и старых, забирали посреди улицы, в кофейне, при выходе из мечети. Похватали школьников от пятнадцати до восемнадцати лет, когда они шли в училище, и родители в течение долгих месяцев не могли узнать, что с ними случилось.

Каждому мамуру [1] и каждому омдеху [2] под страхом отрешения от должности или сурового наказания было вменено в обязанность к заранее назначенным числам предоставлять в распоряжение

[1] Помощник префекта.
[2] Мэр.

власти известное количество людей для «Рабочей армии». Происходили настоящие похищения мужчин, сопровождаемые криками и слезами. Чтобы избежать преследования, крестьяне уходили из деревень и скитались по городам. Хватило предусмотрительности, чтобы оставить по деревням ровно столько крестьян, сколько требовалось для обработки хлопчатника и уборки хлеба. Те, у кого были с кем-нибудь старые счеты, теперь сводили их при помощи доносов; к ним присоединилось взяточничество.

Но и этого показалось мало. Раз у вас забрали детей, почему не отнять и имущество? Неправда ли? Ведь все равно: порог перейден, двери взломаны... Стали реквизировать хлеб, скот, платя ничтожную цену и не позволяя даже просить прибавки и ничуть не заботясь о том, что этим разоряют страну. Забравши людей, стали забирать с'естные припасы, а после припасов—золото из сундуков. От имени и в пользу Красного Креста каждую провинцию, как данью, обложили таким чудовищным налогом, что в общей сложности он составлял цифру, действительно достойную страны фараонов. Это у них называлось войной с варварством во имя цивилизации.

XXXVI

Дни перестали казаться мне прекрасными с тех пор, как нам сообщили о близости предстоящего

от'езд в Рафу. Покинуть Эль-Ариш?!. Моя душа сроднилась с этими песками, а эти пейзажи, питавшие меня своими мыслями, постепенно проникли в меня, и я стал их пленником. От дюны к дюне влачу я свою тоску, словно покинутый любимым существом. Я созерцаю окружающие меня предметы, и мои глаза знают, что не увидят их больше.

Я душу свои желанья и не иду в финиковую рощу, чтобы не встретить Азизы. Я знаю, что она ждет меня, прильнув к стволу, что у нее в глазах тревога, что она зовет меня и страдает. Теперь я совершаю свои прогулки вдоль морского берега.

Морской ветер, очертания волн, чайки, мраморные раковинки, которые я растаптываю с жестоким наслаждением, отвлекают мои мысли. Я заставляю себя следить за агонией вечернего луча на мокром песке, отмечая гамму его оттисков, или гнаться за перламутровым крабом до скалы, куда он уползает. А взгляд все возвращается туда, к золотистым султанам пальм, и туманится сладостью улетающего сна. Пальмы напоминают мне наши об'ятья, странный запах ее курчавых, почти синих волос, ее ласковые словечки, ее наивность и странную слабость, охватывающую меня до мозга костей, которую я ощущаю после наших свиданий и которая вызывает во мне дрожь неудовлетворенного желания.

Как-то вечером я не смог пересилить бесконечного сожаления об этом ребенке, об ее теле и красоте, которые она принесла в дар, и о божественном

приключении, которым я жил. Мне захотелось незаметно для нее увидеть ее, бледную от ожиданья, подавленную отчаяньем. Я пошел. До самой рощи я крался, как вор, минуя тропинки из какого-то страха встречи. Трепетанье листьев, запах цветущих пальм, воркованье горлиц, вечер, струящийся словно сквозь цветные стекла, теплота ночи и ее ароматы заставили ожить во мне призрак любви и открыли мне, как крепко я был со всем этим связан. Я понял, что люблю этот оазис, как любишь родину или старый дом, где родился. И я забылся, завороженный этими сумеречными часами.

Всякий раз при соприкосновении с природой умолкают мои заботы и огорчения не потому, что она романтическая утешительница, а потому, что она проникает в меня, подчиняет меня и преображает. Только глаза продолжают жить: они ищут, перебегают, как ищейки, впитывают многообразие красок, тени, линии, извилины, волнистость убегающих дюн, тогда как все мое существо раскрывается навстречу ароматам, звукам, тишине. Я, как первозданный человек, восхищаюсь контуром листа, рябью воды, пролетающим ветерком. Достаточно какой-нибудь лужицы воды, ветки, птичьего зова, чтобы пробудить во мне эти восторги.

Там, где лунный свет в рамке из пальм был, как изумрудное озеро, там была она, в лощине, как на дне маленькой могилы... Она плясала. Ее глаза со странным блеском были устремлены на какую-то

точку вдали. Легкая, воздушная, она, казалось, хотела улететь. Она плясала для звезд, для лесных тайн, мягкими скользящими движениями. Повязка на лбу, сплетенная из пальмовых листьев, придавала ей вид принцессы. Ее спутавшиеся волосы спускались, как гроздья винограда. Ее синяя одежда, не стянутая поясом, обрисовывала всю ее фигуру. Ее маленькие груди подпрыгивали, около бедер появлялись углубления, как у раковины, ее ожерелье и браслеты серебристо звенели. Она желала. Она повторяла мое имя и в пляске изливала свою тоску... Она предлагала себя с каким-то бессознательным бесстыдством. Вдруг ее движения ускорились, стали беспорядочными, сбились, она зашаталась и с исказившимся лицом забилась в истерическом припадке. Она упала на песок, закрыла лицо руками, и все ее тело содрогалось от рыданий.

Она медленно поднялась и уселась по-восточному. Она загадочно смотрела. Ее взгляд был нежен, как черная фиалка. Она снова превратилась в девочку, которая любит выпрашивать ласки и поцелуи. Уже ночь стала таять, а она все не уходила. Так ждала она каждую ночь, исполняя свою пляску, как обряд, как жертвоприношение. Пески тонули в темноте. Выли шакалы, наверное, вызывая в ее уме представление о джинах и привидениях. Но она не уходила. Она говорила себе, что я приду, что я не могу не притти. В этой позе покинутой женщины она напоминала статуэтку...

А я не сделал движения. Пользуясь темнотой, я тихо пошел обратно к лагерю, к его просвечивающим, освещенным палаткам и долго еще прислушивался к дыханию пустыни и стонам далеких волн.

XXXVII

Мойше обратился с речью к группе солдат, следивших через колючую проволоку, как египтяне играли и бегали взапуски, напоминая школьников во время перемены.

Его звучный, вкрадчивый голос, широкоплечая фигура, весь его облик подкупали, внушали доверие и неизбежно делали его центром всеобщего внимания. В этих случаях он всегда пользовался английским языком, как понятным для всех, и никто не ставил ему этого в вину. Почти всегда он держал одну сжатую руку в кармане, а другой делал скупые жесты, никогда не облокачиваясь в поисках большей уверенности. Его необыкновенно подвижной взгляд перебегал по лицам, проверяя впечатление сказанного, и если ему случалось встретиться глазами со скептиком, он обращался только к нему, как будто убедить последнего было единственной целью его речи.

— Сами не отдавая себе в этом отчета, — говорил он, указывая на рабочих, — они творят работу вечности, работу, долговечность которой недоступна их измерению. Результат их работы прочнее

Фив, Мемфиса или Карнака. Пусть эти пески — как облака или волны морские, пусть солнце жжет этих крестьян, они все же будут склоняться, чтобы взвалить себе на плечи мешки с песком, будут прокладывать рельсы, не сознавая своего геройства. Они превращают в действительность мечты величайших завоевателей. Эти железные дороги, которые они перекидывают через пустыню, эта вода Священной Реки, которая по их трубам течет теперь до самой Священной Земли, какое во всем этом величие, какая победа над укрощенным чудовищем. Из песков восстанут города, которые будут прекраснее всех прекрасных городов мира.

— И потом они показывают жалкому человечеству жестокий пример возвратов истории: когда-то в сказочные времени фараонов их предки заставляли евреев добывать громадные глыбы розового мрамора. Они воздвигали обелиски, сооружали пирамиды, они ворочали тяжелые жернова, рыли каналы и делали кирпичи. И их стегали плетями, и они взывали к всевышнему, моля об избавлении. Взгляните на то, что происходит сегодня, и судите сами. Не поставлены ли эти египтяне точно в такие же условия, не переносят ли они тех же мучений, что и наши предки? Взгляните на этих рабов нашей силы, взгляните, как они на нас работают, как расчищают путь для нашего возвращения на возлюбленную родину... И если они не испытывают ненависти и тирании врага-хозяина

над их жизнью и смертью, зато они страдают от жестокости, которую история позволяет применять к тем, кто не сумел отстоять свою свободу и не примкнул к нациям, идущим к свету. Среди начальников, отдающих приказания, наверное, есть евреи, с улыбкой глядящие на эту маленькую месть судьбы... Это ирония истории.

XXXVIII

Сегодня утром, просыпаясь, я увидел, как ласточка летела над самой землей. Она не делала зигзагов, чтобы поймать мушку. Она разрезала воздух своими заостренными крылышками, и я следил за ее полетом над дюнами, пока она не утонула в лазури. В одно из таких утр я с гордостью почувствовал, что моя молодость не уступает красоте солнца, а любовь стонет во мне, как горлинка в финиковой роще. Желание отягощает меня, как гроздья, которые пора сорвать; меня преследует образ женщины, овладевшей безраздельно моим телом. Пустыня свежа, как безбурное море. Дюны спускаются и страстно прижимаются одна к другой. У песка пробудились желания и потребность любви. Но нет соков земли и нет семян. И все же пятна травы выступили в углублениях дюн, у ствола финиковой пальмы. Потому что наступает весна. Веет ароматами. Они доносятся издалека, быть может, с гор Ливанских; быть может, в них

частица души лесов и садов или розы Сарона и лилии долин иудейских. Это весна, это весна! Быстротечная, с кроткими ливнями, с песчаными шквалами и просветами лазури, она не приносит ни новой листвы, ни криков дроздов в изгородях, ни снежного расцвета яблонь и вишен. Жгучая как лето, она пролетает как эта ласточка, оставляя в крови неутоленный жар желаний.

XXXIX

Мойше уехал с сотней остальных. Он был так возбужден, что казался пьяным. Теперь он получил возможность стать настоящим солдатом и чувствовать, как его сердце рвется от восторга при виде разгромленных, раздавленных турок, при виде их крови и трупов. Можно подумать, что он родился только для этого часа, что вся его молодость, весь его ум, как листва на солнце, развивались только для того, чтобы направить штык, винтовку или гранату в другого человека — с целью прекратить его жизнь.

Пришел приказ с требованием новобранцев в Долину Иорданскую. Английские войска натолкнулись там на такое сопротивление, какого они еще не встречали в Палестине. Нужен был горючий материал, чтобы поддержать костер: бросили клич, вызывая желающих умереть, и они кинулись на него, как бабочки на огонь.

Почему отметили именно нас? Мы беспечно ждали в этом оазисе заключения мира... Может быть, они решили использовать нас исключительно для представительства, чтобы мы не заметили, что единственной причиной удержания нас вдали от фронта был недостаток доверия к нашему батальону. Я подозреваю, что в желании изолировать нас не последнюю роль играло еще английское высокомерие, так как, хотя мы и входили в состав армии его величества, в нас все же видели иностранцев и, следовательно, презирали нас.

Когда приказ был расклеен, в лагере началась невероятная сутолока. Желающими оказались почти все. Они толкались у входа в палатку командира, как голодные, ждущие, чтобы им бросили корку хлеба. Были мольбы, крики. Он выбрал ровно сто человек, таких, которых знал, как самых ярых фанатиков, способных сделать честь батальону.

Я прочел приказ и остался в стороне. Мое равнодушие было замечено. Меня упрекали. Я не обращал внимания. До тех пор, пока сила, сжав мне горло, не согнет меня и не заставит служить себе только потому, что моя одинокая слабость не может перед ней устоять, я не пойду к ней по доброй воле; пока я смогу избежать, чтобы меня потащили на бойню, как связанное животное, я буду хитрить, буду скрываться.

Все же, я думаю, настанет день, когда мне не позволят ни колебаться, ни отступать, и волей-

неволей мне придется подчиниться. Тогда я стисну зубы так, что они чуть не сломаются, от сознания, что я беззащитен, что я должен заглушить свой протест, свой великолепный протест, от которого разрывается грудь. Но, увы, я знаю,—там при виде крови зверь сорвется с цепи, и я буду убивать, убивать, может быть, даже больше, чем другие.

У меня вырывается безумный хохот. Ах, если бы только все те, кто еще хочет преследовать друг друга огнем и мечом, захотели отбросить обман, если бы у них хватило мужества и гордости вслух сознаться в том, что каждый понял наедине с самим собой и скорбно прячет у себя в душе! Тогда из траншеи в траншею по всем фронтам понеслось бы слово освобождения, слово «нет» — и как топор гильотины упало бы на приказы вождей. До самого от'езда добровольцы пели на еврейском языке военные или любовные песни, а те, кто оставался, с завистью их слушали.

Мойше пришел пожать мне руку на прощанье, и мы обнялись. Мы не обменялись ни одним словом. Что мы сказали бы друг другу? У него лихорадочно горели глаза и судорожно сжимались пальцы. Он спешил незаметно уйти из моей палатки, так как я стал в его глазах плевелом, паршивой овцой. Он человек отмеченный, я всегда был в этом убежден. Я всегда вижу, как он лежит в позе мертвеца. Он будет одним из первых. У меня явилась к нему громадная жалость. Мне так хотелось его удержать, сказать ему:

— Брат, не уезжай. Нас обманули. Я тоже думал, что моя смерть будет искупительной жертвой и среди нас воцарится справедливость, Нет, эта земля, за которую мы идем сражаться, никогда не будет нашей, — она не наша и не их, — она принадлежит всем людям. Нам предлагают ее в награду за то, что мы будем убивать и покорно позволили убивать себя. Пусть нам лучше вернут наши очаги и наш труд.

О, много бы я сказал этому человеку, но разве он стал бы меня слушать?

Я услыхал, как торжественно переливающийся еврейский гимн поднялся к небу, к солнцу, к весне, потом «ура», зовы: «прощайте», «до свиданья». И снова неподвижность степи. Только нарушилась симметрия палаток в лагере, так как уехавшие взяли свои палатки с собой, оставив такое же количество пустых мест, так похожих на могилы.

XL

Абд-Эль-Лятиф после недельного отсутствия вернулся сегодня вечером из Эль-Бурджа, маленькой станции недалеко от Эль-Ариша. Его туда командировали с сотней людей. Их вытребовал инженер его величества. Нужно было насадить зигзагами по железнодорожной насыпи колючий кустарник, чтобы песок не засыпал рельс. Он исполнял обязанности и надсмотрщика и переводчика,

так что его должность являлась очень ответственной.

Окрестности Эль-Бурджа — это целая буря щетинистых и глубоких дюн, которые при малейшем северном ветре передвигаются с неслыханной силой и быстротой.

Абд-Эль-Лятифа захватил там самум, бушевавший позавчера весь день. Его чуть не задушили пески, засыпавшие его в палатке. Он вырвался из лап смерти только благодаря хладнокровию, с которым вступил в бой с пустыней.

Ураган поднялся уже на заре. Еще с вечера дул жгучий ветер. Воздух был на точке кипения. Чувствовалось что-то недоброе, что-то тревожное, надвигающееся с горизонта, как невидимая армия, скользящая и проползающая в траве. В воздухе висела тяжесть, вот-вот готовая опуститься и раздавить. Пустыня притаилась в ожидании событий.

Песок, скрипя, как ремень, и мяукая, неощутимым порошком проникал всюду: в легкие, в палатки, в затворы магазинок, в съестные припасы. Дюны медленно перемещались. Их очертания менялись на глазах. Вырастали и исчезали пирамиды, широкие площадки с выступами, конусы, волны. Песок скоплялся вокруг каждого предмета, попадавшегося на его пути и мешавшего ему продвигаться среди кустов, бревен, сгнивших веток. Воздвигались странные холмики, так же скоро исчезавшие. Лохмотьями висели медные тучи,

насыщенные жарой. Невозможно было определить, начало ли это дня или конец сумерек. Отчаянье нависло, как проклятье... Это было вынужденное заключение с лихорадочным биеньем в висках, с отяжелевшими веками и удушьем, тисками сжимавшим горло... Абд-Эль-Лятиф понимал, что было бы безумьем требовать от людей итти на работу. Он лег, призывая сон, который не приходил. Он пробовал остановить мысли на одном каком-нибудь предмете, но головокружение смешивало их, как у пьяного.

А снаружи ветер бросался на палатку и с бешенством ее потрясал, хотя она была закрыта и держалась на глубоко врытых кольях. Каждую минуту он ждал, что она сорвется и обрушится на него. Полотнище хлопало, точно его разрывали... Была полнейшая тишина. Он зажег свечу. Предметы носились в фантастической пляске; он видел их очертания, как сквозь туман. Голоса его людей доносились неясно и отрывочно. К ним примешивались песни и взрывы смеха. Он узнавал их полное улыбок, всегда добродушное настроение, которое они сохраняли, несмотря ни на какие невзгоды и страдания. Во многих случаях их твердость и беспечность подхлестывали его волю и помогали стряхнуть нерешительность. В эти минуты опасности он понял, насколько необходим этот дух солидарности между подчиненными и начальником, которым приходится быть в постоянной взаимной зависимости.

Им приходилось бороться, чтобы их не поглотил песок и не сломались, как стебли травы, мачты палаток. Это напоминало ему, что все же придется пустить в ход угрозы, чтобы заставить людей снять с рельс песок во избежание задержки поездов. Это вызовет ропот, колебание, возмущение,—пожалуй, не все явятся на зов. Тогда ему придется самому итти к ним в палатки, убеждать их, быть безжалостным, а это ему было тяжело. Но он отяжелел, как будто все его тело превратилось в глыбу олова.

Его веки окаменели, как раковины. У него было такое чувство, как будто он опустился на самое дно колодца и выбивается из сил, чтоб ухватиться за веревку, которая качается над ним, суля спасенье. Проснувшись, он с удивлением увидел, что был все на том же месте, и стал рассматривать свое тело: оно стало каким-то чужим. Он сделал над собой усилие, напряг мускулы, выпрямился и понемногу пришел в себя.

Он встал и попытался развязать веревки, с помощью которых закрывают вход в палатку, но не нашел их. Тогда он заметил, что какая-то тяжесть снаружи навалилась на палатку и пузырями выпирает каждое ее полотнище, что вся палатка постепенно стягивается вокруг него, а во все щели, скрипя, вливается и вливается песок. Не было слышно больше порывов ветра. Умерли где-то голоса его людей. Он почти терял сознание от жары... Он понял!

Он быстро ориентировался: ударом перочинного ножа прорезал большую щель в полотне палатки. Хлынул песок. Тогда он, очертя голову, ничего не видя, кинулся вперед с вытянутыми руками в готовый его поглотить песчаный водопад, в который он врезался тяжестью своего тела. Его пальцы искали, рылись в песке, разгребая неуловимые крупинки, срывавшие ногти и ранившие лицо.

Задыхаясь, он, наконец, прорыл себе выход, и утро обдало его своим светом, лазурью и чистым дыханием. Мирно дремала пустыня. Только пейзаж изменился: дюны переместились и волновались по-новому... На три его свистка сбежались один за другим разыскивавшие его люди, завернутые в одеяла, с мешками из-под песку на головах, таща лопаты, с лицами, напудренными тонкой пылью, похожие на причудливых Пьерро с дьявольскими жестами. Он отдал краткие и жесткие приказания. Они присели на корточки. Они построились цепью, а он пошел впереди, обессиленный и больной, увлекая их за собой к рельсам. И они покорно последовали за ним, затянув свою печальную песню.

XLI

Мойше убит.

У входа в канцелярию на черной доске наклеен написанный на машинке листочек, извещавший о его смерти с равнодушием обычного приказа по

лагерю. Сегодня утром я проснулся с сердцем, полным лазури, с ощущением молодости, расцвета, даже не чувствуя тяжести своей рабской ливреи, а теперь это известие волнует меня и вызывает глубокую печаль не тем, что не стало больше этого человека — их столько умирает в промежуток, отделяющий одно биение сердца от другого. Меня мучает вопрос, во имя чего навсегда уничтожены этот энтузиазм и эта сила.

— Мойше убит, Мойше убит.

Я повторяю эту фразу, как припев, и она меланхолично кружится во мне. Впрочем, его смерть не удивила меня. Разве с первой встречи с ним у меня не было впечатления, отчетливого, как уверенность, что он погибнет при первом же столкновении с неприятелем?

Это случилось на передовых позициях, на холмах, возвышающихся над «вадди» Меллаха. Его послали вдвоем с сержантом в разведку. Они попались турецкому патрулю, когда крались по высохшим дорожкам, и были изрублены.

Мне чудятся его глаза, ликующие, как в день его от'езда, от гордости, что именно его выбрали для выполнения опасного задания. Мне чудятся его нервные движения, его сжатые губы, вся его стройная, стремящаяся ввысь фигура. И чудится, как в полном расцвете молодости он валяется на земле, неподвижный как камень или высохший ствол. К этому стремилось его честолюбие. У него

было убеждение, что его смерть необходима и что его жертвенная кровь увеличит славу Израиля. Он жаждал этого конца с каким-то исступлением, сладострастием. У него было, вероятно, только одно сожаление, что он не убил много-много турок, не излил всей своей ненависти в жестокой, задыхающейся схватке. Теперь он будет внесен в список героев. Его имя будет повторяться с высокопарным красноречием, и постараются, чтобы оно стало своего рода закваской для возбуждения чувства мести.

Вокруг меня, на солнце, солдаты обсуждают его смерть, жалуются, что у них мало подробностей этой ночной экспедиции, и обмениваются воспоминаниями о сильной личности Мойше, который бывал то резким, то вкрадчивым. Их голоса становятся печальными и озабоченными, точно мертвец может их услышать, и они жмутся друг к другу как будто для того, чтобы их души все вместе устремились к Мойше.

— Мойше убит, Мойше убит.

Эта фраза кружится и повторяется у меня в мозгу, как жалобный мотив шарманки в бедном квартале, и не хочет меня покинуть. Я стараюсь освободиться от этого навождения, вызывая в памяти чеканку пальмовых листьев, золотящихся в лазури; мне хочется, чтобы мое существо снова наполнили грезы, создаваемые песками. Значит, Мойше будет всегда сильнее меня! Его присутствие неотступно, как моя тень, лежащая у моих ног. Я

приговорен к этой пытке на весь сегодняшний, а, может быть, еще и завтрашний день, но я не собираюсь погрузиться мыслью к нему в могилу.

XLII

Я перечитывал Песнь Песней. Вокруг была ночь, неуловимая как пустыня. С образами, вызываемыми во мне страстными словами книги, я сливал те, которые запечатлели во мне лицо и тело Азизы, и создалось виденье, пробудившее жажду наслаждений. Желанье! Мои ладони раскрывались, словно почувствовав тяжесть грудей, а глаза старались уловить неясные очертания женщины, колеблющейся над дюнами.

Мягкие шаги скрипнули по песку возле моей палатки.

У меня было предчувствие, что кто-нибудь придет сегодня ко мне, и я приготовился было итти навстречу.

В палатку вошел своей обычной походкой вразвалку, как у моряков, Абд-Эль-Лятиф. Глаза его, окруженные морщинками, глядели сквозь черепаховые очки, а пальцы перебирали четки.

— Идемте скорей, — сказал он.

Его голос дрожал от нетерпенья. Лицо было жестко, еле уловимая ирония притаилась в углах губ. Он двинулся к выходу, даже не дождавшись моего согласия. Я погасил свечу и пошел за ним. Я не задавал вопросов, он хранил молчанье.

Он вел меня к себе в лагерь. Светились палатки с тенями жестикулирующих людей. Меня удивляло отсутствие жужжанья, как в пчелином улье, неизбежного в лагере вплоть до команды «гасить огни». И рабочие сегодня вечером не убаюкивали себя собственными песнями. Треугольники света заострялись на земле. Часовые с дубинками скользили вдоль проволочных заграждений. Песок поскрипывал у нас под ногами. Абд-Эль-Лятиф шел впереди. У меня было такое чувство, что я не смогу догнать этого далекого, полного таинственности человека.

Наш путь казался мне бесконечным.

Мы подходили к палатке с навесом, в которой помещалось офицерское собрание. Она была закрыта. Охрипший граммофон кашлял дьявольской песенкой мюзик-холл'ей, вызывающей в памяти девиц в розовом и голубом трико, их мелькающие в быстром танце ноги и изящные движения тонких рук.

Козлиный хохот пьяных, бессвязные слова, тонущие в слюне, грязные проклятья, египетские ругательства — самые отвратительные, — звук опрокидываемых стульев. Абд-Эль-Лятиф, прижав палец к губам, знаком велел мне смотреть в щель в полотне палатки.

Крепкий запах водки и внезапный свет от керосиновой лампы, висевшей на проволоке по середине палатки, ударили мне в лицо, и к горлу подступила тошнота.

Пошатываясь, с растрепавшимися волосами, с налитыми кровью скотскими лицами, два офицера — маленький рыжий командир и другой младший офицер, которого я еще никогда не видал, с розовым кукольным личиком, с девичьими глазами, с точеными чертами — оба, замахиваясь камышевыми тростями и скверно пожевывая ртом, заставляли двух рабочих раздеться.

— Их слуги и одновременно любовницы,— шепнул мне Абд-Эль-Лятиф.

Продолговатые черные глаза с густыми ресницами умоляли. Голоса этих пристыженных и возмущенных юношей слабо дребезжали. Они пытались повиноваться, но их руки в отчаяньи опускались, как плети. Они рыдали. Град ударов тростью по спинам разорвал «защитное» полотно их мундиров. Они стонали, шатались, пытались избежать ударов, бегая вокруг стола. Отражаемый полотном палатки свет лампы был ярок, как свет рампы. Граммофон продолжал выкрикивать пронзительные нелепые ноты, поток грязных полу-египетских, полу-английских ругательств смешался с ударами ног и кулаков.

Они подчинились. Покорно и безропотно сняли они рубашки, развязали шнурки шаровар. Офицеры ждали с дрожащими руками и ногами, с исказившимися лицами. Юноши стояли голые, как две темные статуэтки. Их тела блестели, как отполированная бронза. От больших пальцев ног до самого лба бежали безукоризненные линии, гармонично

переходя одна в другую. Мускулы свободно играли под кожей. Но борозды шрамов испещряли их спины. Каждому из них было не больше восемнадцати лет. Их выбрали из нескольких сот человек за молодость и красоту. Униженные, раздавленные, порабощенные, они были добычей господ и не могли ни избавиться от них, ни пожаловаться.

С загоревшимися глазами, с расширенными ноздрями, со спазмами всего тела офицеры бросились на округлые тела, и началось бичеванье, сопровождаемое резкими криками и хрипом. Египтяне свалились на землю и отдались в их распоряжение, кусая губы, царапая ногтями песок, извиваясь от боли. Трости опускались непрерывно, открывая прежние раны. Выступили капельки крови. Тогда с безумным бесстыдством, рыча и содрогаясь от терзающего их желания, офицеры приподняли почти бесчувственные тела своих жертв и, отогнув полу палатки, служившую дверью, втолкнули их в свое логовище.

XLIII

О, это утро 31 октября 1918 года, когда нам сообщили о перемирии, заключенном с Турцией! Лазурь пестрили тысячи золотых искр, родившихся и умиравших у меня под ресницами. На горизонте таяли сказочные дворцы сверкающих облаков. Острый запах смоковниц, сохнущих от

жары, забирался ко мне в палатку, и желание нарвать их плодов, притаившихся в тайниках листьев, и ощутить, как тает на нёбе их зернистая медвяная мякоть, заставило меня встать раньше обыкновенного. Но вдруг — громкий сигнал на сбор прорезал воздух. Веселые нотки пронизывали пространство, как пули, и горнист, вероятно, вдувал в медь всю свою ликующую душу. Так и чувствовалось, что переливы этого призыва готовят нам что-то необычайное. Мы бросились вон из палаток вместе с облаками песку, подхваченного ветром.

Каждая тень, каждая дюна, каждый предмет врезался мне в память, пока командир дрожащим от волнения голосом читал нам слова отсрочки. Когда «Боже, храни короля» завершило чтение, — вырвавшиеся из самых глубин существа крики закружились, зазвенели, как будто они были долго зажаты в легких, а теперь освободились и обезумели от восторга. Целовались, хлопали друг друга по плечу, прыгали, обменивались крепкими рукопожатиями. Кэпи летели к небу. О, какая радость! Радость, желавшая создать собственное изваяние и потом оживить его, чтобы оно смогло упиться трепетом ароматов, потоками света и душою ветра. Эта радость нас затмила и раздавила. Ее опьянение ничем не напоминало опьянения вином, любовью, богатством или страданьем. Как его выразить? Какими словами? Какими движениями? Вспоминаешь о запертом в клетку хищнике, который вдруг увидел, что нет решетки, и еще не верит

своей свободе, настолько внезапно окружили его лазурь, простор и ветер, и он шатается от блаженства перед мощным прыжком на волю.

Ах, эти солдаты! Минуты было достаточно, чтобы рассыпалось искусственное сооружение из обманов, которые так долго нагромождались в их душе; достаточно было намекнуть им на возможность вернуться к прежней жизни, чтобы их ненависть испарилась.

Бряцание сабель и фраз, парады, медали, прославление и преклонение перед павшими героями разом потеряли обаяние. Пинком ноги они сбросили с пьедестала и растоптали вчерашних кумиров. Теперь они хотят, чтобы иные беспокойства и другой эгоизм питали их слабые души.

Другие крики присоединились к нашим, слились с ними, и чудилось, будто пустыню населили невидимые толпы, наполнившие ее до самых краев. Это плясали египтяне, покачиваясь вправо и влево, потрясая воздух криком «Аллах» в такт своим истерическим движениям. Бедуины выползали из своих деревень и, осмелев, подходили к нашему лагерю. Они улыбались, их глаза радостно блестели и белые «куффна» развевались по ветру. Госпитали опустели: больные, забравшись на вершины дюн, кидали в воздух пронзительные крики радости.

Целый Анзакский полк, которым был набит длинный поезд, совершенно обезумел. Группы солдат, стоя в вагонах, потрясали винтовками и выли

церковные песни вперемежку с самыми двусмысленными. Другие ломали штыки и опьянялись собственными криками. Бутылки виски переходили от сержанта к сержанту. Офицеры с трудом поддерживали дисциплину и собирали обратно в поезд солдат, толпившихся на дюнах, которые окружали станцию.

Я вернулся к себе в палатку и мерил ее шагами вдоль и поперек, засунув руки в карманы, словно желая лишить себя свободы, словно боясь искушения проделать что-нибудь сверх'естественное: продрать полотно палатки, пуститься в пляс или нагишом выскочить наружу. Может быть, я болтал в эту минуту что-нибудь сумасшедшее? Ведь я так дожидался наступления этого дня, так призывал прекращение этой бойни... И вот конец годам рабства, траншеи опустеют, сравняются с землей и покроются колосьями. Но достаточно ли этого? Какой голос восстанет из трупов и развалин и в золотую трубу возвестит нам наши судьбы и соберет воедино всех, кто блуждал, и укажет им единый путь? Я с горестью задумался над тем, что же случится со мной после того, как демобилизация вышвырнет меня назад в города? Какой мне окажут прием, какое предоставят место, когда вернусь я, имея одно богатство: мою мятежную душу? И не было у меня ответа ни на один из этих вопросов.

К вечеру толпы солдат взяли приступом склады и разграбили их. Не оставили ни одной бутылки,

ни одной коробки консервов. Все лагери получили свою долю добычи.

Опьянение завыло по всем палаткам. Пьяные шатались в финиковой роще. Наводнили деревни, куда доступ военным был воспрещен, и которые с этой целью были обнесены заборами из колючей проволоки.

Врывались в кривые улички, вышибали источенные червями двери, хватали старух и швыряли их на омерзительные цыновки. Жители, ища спасенья, убегали в пустыню и провели там ночь, стуча зубами от холода и ужаса.

Десять отбитых у турок вагонов шпал, предназначенных для отправки в Кантару, были разгружены. Шпалы были перенесены к самой высокой дюне, возле моря, над Эль-Аришем.

Мигом соорудили костер, громадный, как деревянная башня. В него бросали все, что можно было достать бумажного или деревянного в палатках и складах: кровати, ящики, стулья, магазинки. Потом все облили керосином и бензином. Пламя с треском охватило эту громаду. В пустыне стало светло. Волны сделались кровавыми. Рычал и свистел ветер. Бревна, пожираемые огнем, рассыпались в куски и скатывались в виде угля и пепла в облаках искр. Обезумевший бесконечный хоровод с дикими криками кружился у костра. В ослепительном свете — потные кривляющиеся лица. Вздымались облака песку, в пламени костра казавшиеся червонным золотом. Гневно ревела душа

огня. Бесконечно удлиняясь, плясали на песке дюны черные тени. Жар палил глаза. Со всех сторон прибегали все новые солдаты. Вся дюна кишела ими... Море выходило из берегов. Волны взбегали в кровавом сияньи. На рассвете мы вернулись с опаленной дюны к себе в лагерь. Мы смотрели друг на друга и удивлялись тому, как проявились наши надежды; и мы стыдились, что все еще носим лакейскую ливрею.

XLIV

В центре египетского лагеря, в потопе солнечных лучей, выбеливших лазурь неба и превративших песок в кристаллы, кричал и извивался человек с непокрытой головой, в одной рубахе, с ногами и руками, вытянутыми, как при четвертовании, и зажатыми в какие-то дьявольские колодки. Он держался на одном только тоненьком бревне метра на два от земли. Его пальцы на руках и на ногах, свободные от колодок, судорожно корчились.

Это истязание началось на заре, когда рабочие ушли из лагеря на работу. Его стоны особенно усилились, когда дерево стало врезаться в его седалище и напряжение мускулов ослабло. Потом, по мере того, как разгорался зной, и сильнее жгло его череп, вопли, долгие и раздирающие, стали вырываться словно из глубины его внутренностей.

Он напрягал тело, стараясь раскачать столб; тоскующим взглядом смотрел он на палатку командира, моля об избавлении. Он остановился, ожидая признака сострадания; потом, когда мука стала невыносимой, он удвоил крики, и они, казалось, доносились до самого горизонта. Он задыхался. Толстая жила надулась по средине лба. Он был красив и пропорционально сложен. Тонкие черты, янтарная кожа, продолговатые глаза и длинные ресницы. По его лицу пробегала судорога. Губы были сухи. Пот бусинками выступил у него на висках, и его вымокшая рубашка прилипла в углублении посреди его мощной спины. Густые, коротко остриженные волосы были черны и блестели. Он глотал слюну. Адамово яблоко, выдававшееся на горле, все время то поднималось, то опускалось. Грудь была обожжена солнцем, и вся кожа казалась опаленной его лучами. Вокруг него команда, поддерживавшая чистоту в лагере, подбирала луковую шелуху, пустые коробки, хлебные корки, просеивала песок, ласкала его, делала его гладким и скользким, как белье после стирки, открывала палатки, проветривала их, оправляла одеяла. Озабоченный и бесстрастный Абд-Эль-Лятиф присматривал, отдавал приказания, всюду опережая своих людей. Он тростью указывал на пропущенный сор или выковыривал его из-под песка. От времени до времени на фоне палатки, где была «канцелярия», вырисовывался силуэт рыжего офицера с руками, засунутыми в карманы, и с трубкой в зубах.

Проверив действительность истязания, он возвращался к своей бутылке виски. Солнце струилось, как расплавленный металл. Тень египтянина все укорачивалась.

Я вернулся к себе в палатку, так как мой пробковый шлем раскалился. Усталость, вызываемая жарою, распластала меня на постели; веки отяжелели, я погружался в небытие... Но глухие и протяжные крики истязуемого прогнали видения. Я встал.

Голова у него свисла на плечо, лицо стало бескровным, вокруг открытого рта жужжали мухи, все тело, обмякшее, как у паяца, держалось только на руках и ногах, зажатых в колодки. Он был в обмороке.

XLV

Товарные вагоны подпрыгивают и скрипят. Железнодорожный путь зигзагами извивается среди дюн. Ветер, разрезаемый нашим поездом, со свистом кидается на нас. Спящие, свернувшиеся под одеялами, как гигантские гусеницы, или застывшие, как маленькие холмы, ударяются друг о друга, следуя ритму колес. Небо отдается земле в своей звездной наготе. Местами море выпрямляет свои изгибы. Телеграфные провода поднимаются и опускаются с головокружительной быстротой. Неожиданные остановки. Фонари качаются в руках у стрелочников. Зеленые и красные сигналы

разрывают полумрак. Молчание... Голоса... На песках печать вечности. Как сладостно! Хочется видеть, как тянутся странные караваны. Порывами приносит ветер благоуханья душистых растений. Силуэтами вырисовываются купы молодых финиковых пальм, сухого кустарника. Поезд выбрызгивает свисток, как камень, взметнутый пращей. Скрежеща железом, харкая дымом, задыхаясь, он отрывается от станции. Кажется, он хочет разбудить нагроможденные здесь века. Присоединившиеся к нам египетские рабочие затягивают песню. Меланхолический, монотонный напев сливается с фатализмом ночи и пустыни. «Кам-лейла-у-кам ийом!» О, эта вековечная песня, всюду звучащая нам вслед! «Ийя-азиз-ейни-уана-бидди-арруа-баляди» [1]. Направляются ли они на работу или возвращаются с нее, в редкие минуты отдыха на насыпи или подле палаток, всегда и везде их души инстинктивно возвращаются к этим нескольким словам, воплотившим все их мысли и все желания. Какой призыв к деревне, дремлющей среди смоковниц, к любимой хижине, к порогу у ее входа, где засиживались по вечерам, к мечети, к каналу, куда водили буйволов на водопой! Эта песня разветвляется в моей душе и наполняет ее. Она меня убаюкивает... Голоса египтян вливаются в меня, как обрывки грез. И до зари, полузакрыв глаза, под неопределенную музыку, в которой тают мысли,

[1] «О, возлюбленная моих очей, я так хотел бы вернуться к себе, в деревню!»

я слежу за убегающими пейзажами и напрасно стараюсь задержать внимание на их легких образах.

XLVI

Рафа. Жесткое название. Когда я его произношу, мне чудится вкус терпкой травы, который приводит в восторг мои зрачки и мою душу. Забуду ли я когда-нибудь твои пальмы, Эль-Ариш, и твой торжествующий свет, и эту тягу к тебе, сделавшую меня навеки твоим ради извивов твоих дюн и гибкого тела Азизы? Рафа проникла в меня, как лихорадка, которую я хотел бы продлить, встречая со сладострастием ее перемежающиеся приступы. Минутами я настолько сживаюсь с этой проскользнувшей в меня атмосферой, что забываю пейзажи, прежде занимавшие меня, и нет для меня ничего, кроме этой единой природы, в которую я погружаюсь, обновляя свое «я».

Напрасно бы я пытался выразить в лаконических фразах, подобных перезрелому гранату, из которого вываливаются зерна, ту чувственную любовь, которую я отдал тебе, Рафа! Недостойной тебя была бы моя хвалебная песнь. Но хотя бы для того, чтобы снова почувствовать тебя теплой и живой, когда я покину тебя для других оазисов, я расскажу сейчас, как ты явилась мне «между городом и пустыней», рыжая от солнца, увенчанная султаном из лазури!

Пояс дюн, развязанный вдоль побережья! Нежность песков, натянутых поверх дюн, как эластичная кожа. Никакой стремительности, никаких скачков в общем ансамбле. Строгие, выдержанные линии и на них — солнце, как ласка. Карликовые долины и пропасти. Отлогий берег. Он нежно-желтеющего цвета, как стройное тело женщины Севера. Средиземное море отдает ему свою голубую душу, которая, как любовница, плещется и струится подле него.

А раковины! Издали слышно, как они шелестят, поднимаемые набежавшей волной, подобно перешептыванию листвы с ветром. Среди спутанных водорослей лежит, переливаясь, это безымянное цветение моря, отражающее в себе всю его тоску, которая запечатлелась в них навек. То веретенообразные, то кружевные, похожие то на лепестки цветка, то на симметричные дольки плода, то завитые спиралью, то закругленные ушком, они все подобны сверкающим мыслям с двойным содержанием, расцветшим в поэме безумного художника. Полными пригоршнями зачерпываю я из этого перламутра, и от прикосновения к нему у меня вздрагивают пальцы, словно их коснулись другие пальцы.

А здесь, совсем рядом — другие раковины — анемоны! Я по колена увязаю в песке, обходя склоны дюн, скользящие на меня и увлекающие меня. При под'емах и спусках мне удается увидеть широкие куски неподвижного моря. Мой пробковый шлем

плохо меня защищает. И вдруг я с умиленной нежностью останавливаюсь перед сверкающим и хрупким пурпуром, озарившим землю своим царственным величием. Они зажаты в углублениях дюн, как маленькие вздрагивающие озера... Я наклоняюсь над ними и закрываю глаза, чтобы лучше проследить, как проникает в меня их еле уловимое благовонное дыханье и, как цветовая гамма их окраски, в моей душе переходит в молитву.

Неожиданная радость! Словно я нашел нивесть какие драгоценные камни! Нежность! Словно явилась та, которую я любил. Трепет этих тычинок так созвучен самым тайным моим мыслям... И еще: только здесь я проник в свет, как проникают в душу друга. Свет всегда был для меня звучностью и радостью. Он обвивался вокруг меня, и я осязал его, как послушную глину. Но только в Рафе мои глаза проникли во все его области. Видения, тающие в лазури, колеблющиеся, как процессии крылатых существ, и становящиеся отчетливыми всякий раз, как я поднимаю лицо к тебе, о, свет!

Какое же оно, это прошлое, это ослепительное прошлое, которое дюны в своем движении бросают навстречу свету, а через несколько дней снова погружают в жаркую пропасть песков? Глиняные вазы с разбитыми ручками, где дремлет душа ароматов. Осколки разноцветных стекол, такие свежие, такие сверкающие! Ржавые медали, монеты, сохранившие намеки на контуры профилей, массивные и причудливые кольца, тончайшие булавки,

а порою из'еденная временем статуэтка, чуть сохранившая подобие обнаженного женского торса.

А там, дальше, за волнами и дюнами — земля, смуглая земля, дающая воду и хлеб. Там, где она начинается, она еще борется со своим старым врагом — песком, но постепенно она его отбрасывает, освобождается от него, вся смуглая, слегка волнистая, отдается плугу и широким, мощным размахом добегает до большой равнины, где тяжелые виноградные кисти и выше человеческого роста колосья.

Деревни, как в Египте. Кактусовые изгороди охраняют жилища. Тощие оливковые деревья с ветками, сведенными судорогой. Стада баранов и пастухи с посохами и в пастушеских плащах. Борозды на земле раскрываются, как об'ятья. Верблюды тащат старые повозки. Травы густы и сухи. Изнемогающая от жажды земля растрескалась от жары.

Издохшие мулы с согнутыми ногами и пустыми глазницами гниют в покрытых плесенью лужах. В кустах валяются стаканы от снарядов, патронташи с пулями, каски, гранаты, штыки. Пустые траншеи извиваются, как кривая на диаграмме. Но жизнь понемногу засыпала трупы и воспользовалась их костями. Люди снова вернулись к ней, чтобы подчиниться ее неизбежным законам.

Здесь граница, здесь передышка. Быть может, именно отсюда последователи Моисея увидели вожделенную землю обетованную во всем ее плодородии

и блеске. Я смотрю на долину. Понесу ли я к ней благоговейную душу? Или же, побеждая соблазн воспоминаний, остановлюсь здесь, беспокойно вопрошая себя самого?

XLVII

По мере того, как мы приближаемся к возлюбленной земле, растут унижения. Кажется, что, видя невозможность поколебать в нас нашу веру или остановить наше шествие по пути к осуществлению нашего идеала, им захотелось хотя бы напоить нас горечью.

Чтобы разбить наше единство и дух солидарности, связывавшие между собой отдельные батальоны, нас распылили повсюду. Послали отряды даже в Мессину и на Кипр, несмотря на протесты людей, записавшихся с единственной целью служить в Палестине.

С теми, которые действовали на фронте Эль-Мелаах и Эль-Сальт, обращались, вероятно, всего хуже. Их заставляли проводить дороги, копать траншеи, хоронить умерших. Для лагерей им назначали всегда самую каменистую и самую нездоровую местность. Им отказывали в элементарнейшем комфорте, что ясно выявляло систематическую и напряженную недоброжелательность, направленную против нас. В армии, в которой не приходилось скупиться ни на обмундирование, ни на с'естные припасы, так как склады были

переполнены до отказа, это особенно сильно чувствовалось.

Когда изнуренные и подточенные малярией отряды Долины Иорданской после одержанной победы пришли в лагерь на дорогу Гебранскую, то, несмотря на отчаянные требования со стороны офицеров, там не оказалось Красного Креста: ни одного санитара! Это было в период сильных дождей. Люди спали прямо на мокрой земле, имея только по шерстяному одеялу, чтобы укрываться. Многие умирали, так и не получив ни малейшей помощи. Сообщали, что один из этих несчастных в припадке помешательства перерезал себе горло бритвой.

Как следствие всей этой сосредоточенной ненависти, стало медленно заползать в души отчаянье и вспыхивали бунты, которые оправдывались еще и тем, что демобилизация, повидимому, должна была миновать нас. Кроме того, у многих энтузиазм первых дней поблек и уступил место разочарованию и озлоблению.

С момента победы и концентрации войск в секторах пустыни и Палестины мы, было, понадеялись, что наши клеветники или, иначе говоря, наши враги прекратят свою закулисную враждебную кампанию. Но не тут-то было. Не будучи в состоянии повредить отряду в целом, стали нападать на каждого солдата поодиночке.

Английская полиция обращалась с нами так, словно мы являлись какими-то втирушами, словно

она считала нас способными на какую-нибудь низость. Правда, в этом ею руководили более высокие авторитеты. Она являлась пугалом для еврейского солдата, пускавшегося на все хитрости, чтобы от нее ускользнуть. Чтобы пройти незамеченным и насладиться несколькими часами свободы, предоставляемой нам нашими отпусками, нам приходилось заменять свои значки значками какой-нибудь английской части.

Персонал продуктовой лавки отказывался нас снабжать и направлял нас в египетские продуктовые лавки, где нельзя было добиться ничего из необходимого.

Часовые-евреи постоянно избивались пьяными английскими офицерами и солдатами, которые, возвращаясь в лагерь в неположенные часы, отказывались отвечать на «кто идет» и проходили самовольно.

Но самым вызывающим и ничем неоправдываемым оскорблением было то, которое придумали для нас на пасху. Мы получили приказ от генерального штаба, воспрещающий, под страхом сурового взыскания, вход внутрь Священного Города с четырнадцатого по двадцать второе апреля, т.-е. именно в числа нашего праздника. В генеральном штабе не могли не знать, что это было посягательство на самое дорогое в нашем культе, так как этот праздник освобождения при переживаемых нами обстоятельствах приобретал для нас огромное значение и величие. Поэтому удивление

и негодование были так велики, что нужна была вся твердость нашего полковника, чтобы подавить беспорядки.

Несколько офицеров полка, став лицом к лицу с этими фактами, вынуждены были подать в отставку. С другой стороны, выбитые из колеи люди теряли остаток бодрости. Некоторые старались держаться, боролись с этим наплывом отчаянья и больше прежнего погружались в прошлое, ища в нем поддержку для своего идеала. Но жара их прежних порывов, радостного трепета, мощного фанатизма, делающего из этой молодежи беспрерывно бушующую силу, уже не было. Дух, вздымавший эти души, как пламя пожара, повидимому, покинул их навсегда.

Жадная и властолюбивая раса воспользовалась нами, как предлогом. Никогда она не будет считать нас свободными сынами Палестины; для нее мы навсегда останемся презренными данниками. Горе нам! Мы покинули наши очаги, горевшие огнем надежды по всему земному шару, и пошли за этими сынами Севера, как племена далекого прошлого, следовавшие за могущественными пиратами, как их наемники. Горе нам!

XLVIII

Конец моим скитаньям по пустыне вдвоем с наклонившейся впереди моей собственной тенью, которой я посылал улыбки; конец размягчающей

лени, простиравшей меня на жарком песке; конец забвенью, приходившему смежать мои веки, подобно головокружительному опьянению какого-нибудь наркотика. Я не буду больше просыпаться с мыслями, свободными и крылатыми, с беззаботной радостью жизни, какую испытываешь только по утрам во время каникул, когда июльское солнце просачивается сквозь занавески.

Моя открытая навстречу горизонту палатка, круг которой правилен и чист, как безоблачная жизнь, не будет больше хранить для меня в трепетании своих полотнищ уединение, укреплявшее и ширившее мою душу.

А главное, я не смогу больше укрываться от видений, родивших в душе уголок жестокости и горечи и преследующих меня с тех пор, как явилась передо мной развенченной и обнаженной война, которую я считал справедливой, несущей освобождение.

От'езд из Эль-Ариша был для меня головокружительным ударом. Жестокая, неумолимая действительность. Нужно было атаковать ее в лоб и сбить с позиций. Меньше всего был я подготовлен к этой борьбе теперь, когда пружины моей энергии покрылись ржавчиной. Несомненно, она развернулась бы во всей своей полноте, если бы нас сразу, с первых же шагов поставили перед лицом всех затруднений, встретившихся позднее на нашем пути.

Можно было подумать, что кроме позора, которому нас подвергали, держа нас в стороне,

удаляя от намечавшейся уже победы, как вредный элемент, могущий способствовать только поражению, на нас, кроме этого, хотели еще выместить то, что мы под защитой финиковых пальм находились в ожидании, когда минует гроза; и вот, в то время, как демобилизация постепенно освобождала оккупационные отряды, на смену им призвали нас вместе с индусскими и «Британскими восточноафриканскими частями».

С чувством тоски по родине я смотрел, как между дюн скользили длинные поезда, увозившие уже не солдат, а почти свободных людей, едущих домой. Их смех и песни родили во мне странный недуг, какую-то смесь зависти, радости и ревности; было мучительно.

Ожидавшая нас задача была не из легких. Нам поручалось восстановить мир и порядок внутри страны, нести охрану складов с амуницией и лагерей военнопленных, более чем ста пятидесяти миль рельс и всевозможного покинутого материала для лагерного оборудования. Нас расположили вдоль железнодорожного полотна, разбив на маленькие посты от шести до десяти человек и расквартировав по деревням, разбросанным довольно далеко друг от друга вдоль железнодорожного пути.

Мародеры-бедуины не давали нам ни минуты покоя. Нужно было быть все время начеку, и часовым часто приходилось прибегать к оружию. Бедуины грабили склады сена, ломали водопроводные трубы, а иногда осмеливались добираться до

наших палаток. Это был беспрерывный ряд разведок по деревням, угроз и арестов. А наша сфера действий простиралась на очень большую зону. Она охватывала на юге почти всю пустыню Синайскую, на севере — Палестину до Бир-Салема, а на востоке переходила за границу Бершебы и пустыни Аравийской. Убийственная служба под палящим солнцем, среди песков. Ночные дежурства, когда тоска сжимает горло и вцепляется в ваше тело, как гигантская летучая мышь. Переезды из Гаифы в Кантару в скотских вагонах, где человека швыряет, как вещь. Переходы форсированным маршем при конвоировании турок и немцев по белым дорогам, пыль которых, смешиваясь с потом, покрывает тело тестом.

Но что вся эта усталость, все страдания и лишения в сравнении с жертвой, на которую соглашались все, кто желал восстановить царство Израиля! А разве не возврат к прошлому эта унизительная работа — нечто среднее между «работой» жандарма и полицейского? Ну, что же! И последняя скамья в храме — почетное место для того, кто любит своего бога. Ни одной жалобы, никакого уныния! Напряженная воля и смиренная душа!

В сотни раз увеличивалась твердая воля расы, заостряясь от близости возлюбленной земли и от жажды самопожертвования, накопленной в течение стольких веков, от жажды жертвовать, не торгуясь, всей полнотой существа.

Ведь теперь уже это навсегда их земля и их небо. Дорога у них под ногами не враждебна им, а их насущный хлеб вырос из их собственной земли. Они больше не бездомные, не лишенные наследия, не номады. Гетто расширились и слились с городами. Забитый и дрожащий жид выпрямился: и у него теперь есть отечество.

Мне лично не пришлось особенно много страдать от перемен, происшедших в нашем полку, так как я не принимал никакого участия в тяжелых обязанностях, выпавших нам на долю. Я не старался браться за опасные поручения и не проявлял особого рвения. Я не видел повода гордиться и, если бы меня привлекли к работе, я отдался бы ей без всякого энтузиазма. Я только старался дать как можно менее пищи для недоброжелательности моих начальников: вспомнив о моем нейтральном отношении к сионистским идеалам, они могли бы взвалить на меня самые тяжелые обязанности в виде репрессий. Но мне неожиданно повезло: меня взяли в канцелярию штаба. Она была в большой палатке, полной папок с делами, формуляров, карт. Целая жизнь в миниатюре на столе у канцелярской крысы.

Все движения нашего полка сосредоточивались у меня на карте, утыканной булавками с цветными головками и фишками. Моя способность приноравливаться к обстоятельствам так велика, что я очень быстро приспособился к своей новой службе, не слишком жалуясь на судьбу и даже считая

привилегией свою обязанность корпеть здесь, согнувшись над всеми этими бумагами. Разве я не вижу целыми днями через вход в палатку маленькую дюну с мягкими контурами, не вижу, как золотится она по утрам, как хмурится в сумерки? Иногда на нее опускается птица, и я принимаюсь думать о том, какая пьянящая радость иметь крылья и купаться в солнечном свете. Иногда до меня долетают голоса бедуинов, я долго слежу за повторяющим их эхо, и мне чудится, что оно продолжается во мне. Я один. В часы бездействия, не имея права, по условиям службы, отлучиться из палатки, я так томлюсь этим одиночеством, что начинаю желать присутствия какого-нибудь живого существа ради единственного развлечения — увидеть блеск его глаз и игру его лица.

Нетерпеливое желанье быть скорее демобилизованным, абсолютное неведение того, что меня ждет там, в городах, отвращение к самому себе при мысли о нелепости моего положения в этом полку, служащем тем идеалам, от которых я отрекся — все это обостряется и ранит мою душу теперь, когда я живу с этим с глазу на глаз.

После ужина приходит полковник, длинный, сухой, скупой на слова, с глазами, глубоко ушедшими под дуги густых белокурых бровей; он подписывает письма, редактирует рапорт за истекший день, передает приказы по телефону, делает мне несколько указаний и уходит в офицерское собрание,

чтобы присоединиться к группе офицеров, ожидающих его для игры в бридж.

Вместе со сгущающимися сумерками этот человек вносит в течение моих мыслей маленький перерыв. От всего его существа исходит избыток энергии и четкость взглядов, исключающих всякую нерешительность, всякую слабость, всякую скуку. Он немного напоминает мне Мойшу, но без его кипения, без его обилия жестов и слов. Как только он уходил, вместе с ними исчезала вся его атмосфера покоя и мудрости. Так равномерно шли дни за днями, и я, хоть и безропотно, но с глубоким сознанием того, как уходит время, следил за их чередованием. И все же теперь уже с большей уверенностью ждал я часа, который вернет меня к мирной обстановке и к моему будущему, величественному и жуткому.

XLIX

Палестина!.. Вновь обретенное отечество!.. Как их обольстили, и как они попались на приманку, обещанную им, как манна небесная. Иллюзия! Ударили по родникам их сердец, и вот брызнули таившиеся в них волны. Они не видели, они не понимали. Для них было достаточно фразы: «Вновь обретенное отечество!.. Палестина!..» — чтобы пленить все их жизненные силы.

И везде одинаковая охота за человеком, везде одинаковая позорная эксплоатация того самого

чистого, самого священного, что хранит в себе толпа.

Роясь в старом навозе, где вместе гниют озлобление, ненависть, тайная зависть, присущие каждой расе, их откапывают и потрясают ими, как факелами, чтобы заставить их воскреснуть в сердцах людей, которые о них почти забыли или, по меньшей мере, видели в них только воспоминания.

А чтобы дело было вернее, отыскивают по преимуществу народности, раз'единенные и пострадавшие от времени, — как их старые памятники, — рассеянные и угнетенные, хранящие в себе безумную надежду... С ними торгуются, хитрят, устанавливают цену:

— Будьте нашими, отдайте нам вашу кровь и ваш мозг, а затем мы дадим вам оружие и амуницию, и ваша родина станет принадлежать вам, и вы больше не будете рабами и изгоями.

Сделка совершена. Они включены в армию, которая стала численнее на столько-то единиц, и на такое же количество увеличился запас мишеней для пуль и шрапнелей.

Так было с евреями. Они захотели стряхнуть с себя груз веков, они захотели восстать против сил, направляющих их судьбы, они захотели стать лицом к лицу с неприятелем. Одним прыжком назад по пройденному пути захотели они вернуться к очагу прошлого великолепия, а чтобы легче достичь цели, унизились до рабства. Израиль признал господина, Израиль преклонил чело и просунул

руку в кандалы. О, горе! Никогда не подчинявшиеся никаким правилам и особенно не умевшие обуздывать свой индивидуализм, они не только не отказались от ига, — они его страстно призывали.

А владыка! Эта герметически замкнутая и все отрицающая раса, вырывающая между собой и побежденными народами непроходимую бездну. Всех, кто не их соотечественник — и при этом чистейшей крови, — они считают не вполне людьми, во всяком случае, людьми низшей расы. Гордость наложила на их лицо какую-то деревянность, которая отталкивает и парализует всякую яркость чувства и жеста. Ничто их не интересует, кроме того, что могло бы еще более расширить пределы их королевства.

Человек их расы располагается у вас, словно по неот'емлемому праву, и если вы осмеливаетесь выразить по этому поводу некоторое недоумение, он отвертывается, как ни в чем не бывало. Не пытайтесь проникнуть в его душу. Она останется недоступной для вас не в силу особой утонченности, а вследствие принципа непроницаемости, неуклонно соблюдаемого с тою целью, чтобы таинственность оставалась для нее источником силы, а для вас — постоянной причиной неудовлетворенного любопытства. Эта раса спустилась со своих туманных островов к золотистым берегам Средиземного моря, и здесь перед ней склонились древние народности, выкованные столькими столетиями; она овладела всем, что еще осталось от древних

цивилизаций, с единственной целью найти рынки для своих хлопчатобумажных изделий и закрепить за собой богатства завоеванных земель. Что касается людей, населяющих эти колонии, — о них ей мало заботы: какое ей дело до их мыслей, до их души, до их заветных желаний?.. Ведь это «цветные»!..

А мы? Что такое здесь мы, солдаты, как не «иностранцы» — наравне с египтянами, индусами или «Британскими восточно-африканскими» частями, хотя еще праотцы большинства из нас, русских и польких евреев, жили в лондонских гетто? Самое меньшее, чего мы можем требовать от людей, торжественно об'явивших себя нашими защитниками и не побоявшихся отстаивать наше дело, — это обращения с нами, как с равными, и права, не стесняясь, дышать воздухом нашей страны.

Но, повидимому, проклятие, брошенное нам нашими пророками, будет тяготеть над нами и по возвращении из грустного изгнания. Наши собратья по оружию не скупятся на те же оскорбления, которые нас всегда преследовали, но которых мы надеялись не слышать под нашими небесами: «грязный жид», «хитрый жид»...

«Томми» нас избегает и презирает. Он пользуется каждым удобным случаем, чтобы проявить свой антисемитизм. Если солдаты «Королевского стрелкового» в пути или в поезде оказываются вместе с другими английскими частями, на них тотчас же указывают пальцем и от них отмежевываются.

Но эти унизительные выходки, которые, между прочим, являются очень показательными для состояния умов, не слишком бы нас беспокоили, если бы положение вещей не ухудшалось другими, более потрясающими фактами. Генеральный штаб «египетских экспедиционных войск», с самого прибытия в Египет еврейских батальонов, ясно обнаружил, как мало он симпатизировал самой идее формирования этих единиц. А между тем, инструкции, полученные из Лондона, казалось, были исчерпывающими, и декларация Бальфура не оставляла никаких сомнений относительно намерений правительства его величества короля великобританского. Всевозможные препятствия были изобретаемы, чтобы создать нам затруднения и запугать нас. Нашим офицерам пришлось выдержать настоящую борьбу, пришлось пускать в ход хитрость, чтобы обеспечить людей обмундированием, продовольствием и даже участком для лагеря. Нам запретили носить «щит Давида», как эмблему нашего полка, и только позднее, после настойчивых и многократных ходатайств, нам, наконец, соблаговолили это разрешить. Эта линия поведения, сперва замаскированная и нерешительная, делалась с каждым днем определеннее, и, в конце концов, презрение, которым нас обливали, ни для кого не стало тайной.

Прежде всего попытались отнять у нашего полка «боевой» характер и превратить нас в какой-нибудь «рабочий корпус». Эта попытка,

посягавшая на самую цель нашего полка, заключающуюся в участии его наравне с другими частями в прорыве в Палестину, потерпела жалкий крах. Тогда нас стали задерживать как можно дольше в Кантаре, в Эль-Арише, в Рафе, с целью отодвинуть по возможности наш переход в Палестину и деморализовать нас бездействием и оторванностью от остальных.

L

Я не решался перейти границу. А случай представлялся часто. Мой полковник находил этот отказ достаточно странным. Он старался тонкими намеками вызвать меня на об'яснение, но мне всегда удавалось уклониться: ведь мне было не безызвестно, что он в курсе моих взглядов на сионизм. Его единственной целью было вызвать меня на религиозный спор, в котором он, сильный своим авторитетом начальника, заставил бы меня капитулировать. Ведь я должен был счесть за милость судьбы возможность стать ногами на священную землю Палестины, которой другие лишь мимоходом касались губами. Но великая скорбь росла во мне, когда я смотрел туда, на долину, скорбь, поднимавшаяся со дна моей души, скорбь, от которой я не мог освободиться. Я словно висел над пропастью, загипнотизированный пустотой. И я не осмеливался.

В то же время велико было мое желание очутиться среди оливковых деревьев и найти под родными небесами подлинные и многообразные лики библейской природы, хранимые так долго в душе. Я был в ожидании какого-то зова, который подаст мне знак.

Но горизонт был загадочно нем. Я безжалостно рылся в своей душе, стараясь понять, каков же будет ее отклик на соприкосновение с первоистоками моей расы и с излучением ее мысли из священных гробниц, но так и не нашел в себе того внутреннего жара, который создает общение с миром прошлого настолько тесное, что во всем существе появляется ощущение глубочайшей связи с ним. И для меня стало яснее, чем когда бы то ни было, что представление о судьбах Израиля, всегда будившее эту мечту о возвращении на землю предков, было извращено. Ибо его судьбы иные. Земля его — весь мир. Этот тесный горизонт ему не по росту.

Но в один из дней крайней усталости, терзаемый сомненьем, желая какой угодно ценой вернуть себе душевную ясность, я легкими и решительными шагами спустился к долине и совершил так пугавшее меня паломничество.

Крайний предел, где мое непокорное сердце должно было стать уступчивым, смиренным и открыться для любви к земле избранников! Но таков был уклон пройденного мною пути, что чем ближе я подходил к желанной когда-то цели, тем больше

я от нее удалялся в своем сердце, благодаря истинам, открывшимся мне одна за другой, пока я жил в палатке.

И в Священном Городе я оказался проезжим чужеземцем, которого не волнуют стены разрушенного храма. Я не почувствовал, чтобы во мне воскресало блестящее прошлое.

Я не упал на колени, пораженный внезапным открытием. Мои руки не погрузились в пепел.

Мой ум поднялся выше Оливковой горы, выше горы Моава и на этой высоте опьянел от созерцания дивного зрелища мира, где старая раса зажгла очаги мысли и очаги любви.

И я вернулся в Рафу, полный ликованья, что в душе моей сохранилась выгравировавшаяся в ней драгоценная уверенность. Я отстранил от себя нежное влияние могил и взрыв гордости, который мог бы создать во мне иллюзию, будто я один из тех, кто послан возвестить изгнанным освобождение.

Долина больше не пугает меня.

Я смотрю на нее со спокойствием и нежностью тех, кто привык к развернувшемуся перед ними любимому виду. Я ласкаю в своей памяти все пейзажи, которыми я обогатился: пейзажи золотистых виноградников, миндальных деревьев и эвкалиптов, долин, где зреют арбузы и кунжут, и столько других, где солнце льет ослепительные лучи сквозь оливковые деревья и где вечер задерживается на пороге у еврейских колонистов, как задумчивый нищий с закрытыми глазами.

Теперь я обращаюсь лицом к морю или к Кантаре, так как оттуда я жду слова, которое меня освободит и вернет к пламенной жизни, возносящейся над трупами. Должен же я оправдать свое темное существование еврея, послушного инстинкту муравья или пчелы, инстинкту вечно строить, вечно отыскивать мед или зернышки, хотя бы и был уничтожен муравейник или улей. Я знаю, что не окажусь глухим к великодушным уговорам, зовущим туда, где веет ветер героизма, и дам увлечь себя в новые схватки, но убивать я не стану...

LI

Нет, истинно говорю вам, не в Палестине ваше отечество! Я знаю, иные закидают меня камнями, другие меня проклянут за то, что я отрекаюсь от тысячелетнего плача и от тысячелетних надежд.

Но что значат мои фразы в сравнении с восторгами их сердец? И рядом с лучистым сияньем их лиц много ли весят мои доводы?

Пусть станут презирать меня, как проститутку, пусть отворачиваются от меня, как от прокаженного, но я выскажу им то, что живет и бьется у меня в сердце, выскажу, хотя бы мне пришлось оказаться своим единственным слушателем.

А знаете ли вы, что я вам предложу славу более долговечную, чем та, которой добиваетесь вы, гонимые мечтатели?

Я хочу открыть это вам, так как вы, подобно виноградной лозе, сами не знаете, какое в вас бродит мощное и святое опьянение.

Ах! Если бы я мог показать вам возможности, которые в зародыше таятся в вас, как неисписанные страницы! Гордость подняла бы ваше чело, и каждый из вас, облокотившись, стал бы размышлять о своем царственном величии. Но вы подобны тем, кто всякий вечер засыпает, не замечая, что под ложем у них—гора драгоценностей.

Я расширяю идею еврейства и делаю ее свободной. Во все времена она старалась достичь тех вершин, которые человечество считало идеалом человека.

Евреи, вы только — люди! Вы никогда не знали родины, потому что вашей родиной была земля, не растерзанная на клочки, но единая и свободная, со всеми населяющими ее человеческими существами, животными и растениями.

И такими вы сохранились, несмотря на вековой гнет и на враждебность народов, восставших против вас.

Юношеская энергия, которую вы затрачиваете сегодня на возвращение в долину, из которой вы были изгнаны, есть чудовищное извращение вашего идеала! О, дело совсем не в том, что я сомневаюсь в вашем успехе! Можно ли сомневаться в успехе начинания, которое оживляет и которым руководит ваша душа?!.

Подумайте, источники жизни в вас так живучи, так вечны, что вы сохранили их неприкосновенными, как бы запечатанными, несмотря на подтачивающее вас время, несмотря на битвы и страданья. Но скажите, неужели вы боролись и проливали слезы, чтобы притти к тому, что вас измельчает? Неужели для того, чтобы поселиться в оливковых рощах, покинули вы свои сторожевые посты, куда к вам доносились отзвуки великих идей, и где вы в свою очередь вносили свой вклад в красоту вселенной?

Ваши пророки пламенно желали для вас страданий, борьбы и слез, они предсказали все это, чтобы создалась и утвердилась единая религия любви.

Тоска по родине, с которой вы взываете к потерянному Иерусалиму, не есть ли это протест всего вашего существа против вопиющей несправедливости, не есть ли это жажда осуществления сладкой мечты о братстве народов?

Нет, истинно говорю вам, ваша родина не в Палестине. Вы — рассеянное зерно, которое должно дать жатву; и вы же — великодушные сеятели!

В вас кипит религия мессианизма, религия, сеющая пламя, и потому вы странствуете, беспрестанно бродяжничаете, вы—неутомимые сеятели великих начал человечности.

Вы проникаете всюду, как переменчивый ветер, несмотря на запертые двери, на границы, ибо

нужно, чтобы расцвело ваше слово, нужно, чтобы исполнилось ваше назначение.

Не проклятие было брошено вам с высоты храма, а веление любви, которое вы стараетесь выполнять с бессознательностью силы природы.

Да, вы — осколки разбитой амфоры, амфоры, содержащей скрытую в ней сущность мысли, которую вы щедро разливаете.

Вы — отпущенники, вы — освобожденные, несмотря на талмуд и на библию.

Достаточно вам иметь землю для обработки, все равно где, все равно в каком климате, чтобы ваша жизнь развернулась в привычных для вас формах, так как умерла в вас идея родины, и вы смотрите на иностранца, как на брата, и различаете людей не по цветам их флагов и не по признакам их культов.

Вы всегда стояли на страже всех новых достижений человеческого ума, вы всегда участвовали во всех движениях, поднимавших народы во имя освобождения от старых предрассудков и кары за социальной несправедливостью, потому что вы были беспокойными, были мятежниками.

В вас живет бескорыстный и чистый идеал, омоченный в крови революций, который всякий раз на одну ступеньку приближает времена, когда люди будут смотреть друг на друга без ненависти.

Но пусть мои слова не ослепляют вас, как блеск алмазов. Я не пророчествую о наступлении вашего царства. Вы — слуги и вы — смиренные.

Пусть вас преследуют, пусть избивают, все равно! Оставайтесь разрозненными как звенья цепи, соединенные одно с другим невидимыми нитями, так как в этом ваша сила и ваша миссия.

Нет, истинно говорю вам, не в Палестине ваше отечество!..

LII

Я жду поезда. Сейчас он появится среди дюн, словно рассекая их. Эти захлебывающиеся свистки так мне знакомы; эти вытягивающиеся клубы дыма, — я столько раз видел их, — этот скрежет тормазов, стук сталкивающихся вагонов, грохот остановок, — я столько раз их слышал... В течение всего периода моей солдатской жизни эти звуки, если можно так выразиться, линяли на ее однообразном фоне, сопровождали ее, сочетались с ней в неизбежный пейзаж, без которого общая атмосфера, созданная вокруг меня привычкой, утратила бы гармонию своих линий...

Поезд!.. Ждать в пустыне приходящий или проходящий поезд! Это — почта, это — газеты, связанные бичевкой в пакеты и брошенные на полном ходу часовому, дежурному по станции, это — свежая вода из конторы, это — рацион и папиросы и еще случайные новости, которые с убежденным видом сообщает с высоты локомотива машинист, очевидно, набравший их понемногу по всем станциям.

Скатанное одеяло и винтовка при мне. Меня снабдили довольствием на два дня, и моя фляжка полна горячего чая. Я один. Две палатки, занятые «дежуркой», еще заперты... Заря только загорается... Двойной отпечаток моих шагов на влажном песке проложил узкую кривую дорожку по спуску с дюны, закрывающей от меня лагерь.

«Я уезжаю, я демобилизован».—По слогам повторяю эту коротенькую фразу как будто для того, чтобы лучше проникнуть в ее смысл. Я переворачиваю ее, как какой-то редкий камень, не поддающийся моей классификации и этим приводящий меня в смущение. Эта перспектива не вызывает во мне восторга. А между тем, думая о минуте, когда буду освобожден, я предвидел такую громадную радость... Никакой лихорадки, никакой поспешности, никакого недоуменья! К этому отъезду я отношусь бесстрастно, как человек, привыкший совершать такие поездки ежедневно. А между тем, были ночи, когда богохульство пенилось у меня на губах, и я ломал руки от негодования и от бессилия: быть солдатом, ненавидящим свое оружие! С тех пор, как я оторвался от Мойше, и мое сознание, пораженное потрясающим событием, проснулось, не было дня, чтобы я с отчаянием не призывал того, что сейчас как будто даже не волнует меня.

Происходит ли это вследствие внезапно наступившей перемены в условиях моей жизни и моей неспособности быстро к ним привыкнуть, которая

подавляет всякое проявление моих чувств, или же вследствие разбросанности моей натуры, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей новых причин для надежд или для жалоб? Вся моя личность, влечения которой мне так хорошо известны и импульсы которой я вижу отчетливо, как движение часового механизма, кажется взятой в охапку моим вторым «я». Разве это не совершенно просто: я уезжаю, я жду поезда. Я вытянулся во всю длину, и утренняя свежесть пустыни соединяется с образами, которые создаются во мне и лопаются, как мыльные пузыри. Я слушаю шум моря, как если бы я прижимал к уху звучащую раковину. Я рассматриваю борозды и волны на песке и пучки жесткой травы. Но вот, несмотря на внешнее спокойствие, печаль поздней осени, как при воспоминаниях о прошлом, начинает скрести сердце. Сперва, неуловимая, она растекается, как чернильное пятно, потом делается определенной и поглощает все остальные чувства. Значит — конец? Значит — никогда больше не сольется с этой природой моя душа, питавшаяся ее соками и заимствовавшая от нее монотонность и торжественность? Здесь остается моя прежняя оболочка, вся совокупность борьбы, обид и страданий, и, переходя вторично эту границу, я скажу, что я стал новым человеком в тени твоих пальм, Эль-Ариш, и среди твоих дюн, Рафа! Никакого сожаления, ни малейшего желания отложить от'езд, пожить здесь еще, даже без этого мундира. Одна признательность, смиренная

признательность, подобная той, какую я принес бы своей бабушке, которая меня носила на руках и которую я, наверное, больше не увижу, так как близка ее смерть. Медленно, как узор разворачиваемой вышивки, преображается эта печаль и уступает место тоске, более мучительной, чем зияющая рана.

Все сомнения, все беспокойство, все страдания всплывают, как явившиеся на поверхность воды ядовитые водоросли. Я строго вопрошаю себя самого. Я — на распутьи.

Крутой поворот здесь, предо мной, — он неизбежен. Нужно катиться по наклонной плоскости. Чем станет для меня то, что там, «позади», — то неизвестное, куда я отброшен, более бессильный, чем ребенок?

Но рельсы начинают жужжать, дрожать от тяжести всех катящихся по ним вдалеке колес... Поезд!..

LIII

Когда я, цепляясь, влез в него и бросил взгляд на своих будущих спутников, то, не колеблясь ни минуты, выбрал место, куда положить свой багаж и где вытянуться самому. Вагон был простой платформой; она была защищена крышей из досок, сколоченных в виде решетки. Пол был старый, в трещинах и дырах, сквозь которые были видны рельсы с их неожиданными поблескиваниями и

выпачканные маслом и углем шпалы, напоминающие положенную на землю бесконечную лестницу.

В вагоне было человек пятнадцать английских солдат.

Они нарочно раскидали свои вещи, чтобы занять побольше места и ночью удобно улечься, с уверенностью, что никто из вновь прибывших их не потревожит. Румяные, свеже выбритые, успевшие начистить пуговицы и пряжки на поясах, они важно разлеглись во всю длину. В них чувствовалась та полнота физических сил, которая указывает на мощное тело и душу, нетребовательную и безбурную. Они вызвали во мне ощущение чего-то вроде отталкивающей и враждебной силы, которая словно отбрасывала и запрещала всякое сближение с ними.

Было ясно, что в их представлении я не пользовался никакими прерогативами своей должности, а, как человеческое существо, не был им равным. Они обращали мало внимания на мой приход. С важностью жрецов они приготовляли чай, пользуясь горячей водой, взятой из локомотива. Вымыв коричневый эмалированный чайник, они стали созерцать настаивание чая, словно это было крайне важное явление в их жизни.

В другом углу вагона, точно отделенные невидимой границей, которую, они знали, им запрещено было переступать, два индуса, — один из них солдат «Британских восточно-африканских» частей,—и один египтянин при виде меня сдвинулись

поплотнее, отодвинули свои вещи до разрешенной им границы и своими открытыми братскими лицами пригласили меня, как дорогого гостя, сесть рядом.

Они увидели, что у меня смуглая кожа и черные глаза. Они признали меня за человека их расы. Они не могли ошибиться. Они знали, что у меня нет выбора, и что я должен быть с ними. Толстые губы с приплюснутым носом, тонкие губы с прямым носом, полные губы и нос с горбинкой—все это признаки неизгладимые, потому что их оживляет одна душа, душа, выплавленная в тигеле Востока — из солнца, эпикурейства, грязи и гибкости.

Они тотчас же предложили мне разделить с ними завтрак с приветливостью, исключавшею самую возможность отказа. Индус называл меня «саиб» [1], африканец обращался ко мне со словом «брат», а египтянин умел только улыбаться, сверкая частыми белыми и блестящими зубами. И верьте мне, стоило бы вам притти к ним запросто, не чванясь занимаемым вами на социальной лестнице привилегированным положением, чтобы они вам оказали такой же прием. Потому и меня больше влекло в их кружок, чем к блондинке с голубыми глазами.

Пустыня подчиняла нас своей мечтательностью, подобной той, которая таится у нас в душе и расцветает, когда мы коснемся папироски, янтарной трубки кальяна, ароматного кофе, монотонных

[1] Друг—по-арабски.

звуков флейты, тягучего отчаяния «ия-лейль» или голубой пленительной тени виноградника. Как по волшебству, весь Восток перед нами. Мы уже вне вагона, вне скорости, вне времени... Вокруг каждого из нас была природа его страны, и затуманенный взгляд, опустившись внутрь души, уносился вслед любимыми видениями. И тогда, очнувшись от этого опьянения, мы с улыбкой переглянулись,—между нами было духовное общение и молчаливое согласие.

А те пели фальшивыми голосами, отбивая такт прикладами винтовок. После ломтиков ветчины, тартинок с вареньем и чая у них явилась потребность двигаться и орать. Их ровное и как будто уравновешенное настроение оказалось нарушенным только потому, что они поглотили некоторое количество пищи; настолько преобладают первобытные инстинкты в этих мускулистых телах.

Поезд, описав кривую, в'ехал в высокие дюны и замедлил ход. Египетские рабочие чинили железнодорожный путь. Их было два ряда — по обе стороны пути; они отложили свои лопаты, кирки и мешки. Некоторые выпрашивали папироску, другие бежали по вагонам посмотреть, нет ли кого из родной деревни. Английские солдаты вышучивали их, говорили им грубости, сталкивали их с площадки вагона с тем презрением в движениях и словах, которым они так хорошо умеют пользоваться, когда хотят дать почувствовать туземцам в колониях глубину разделяющей их пропасти.

Поезд ускорил ход. Теперь он шел по плоской, отливающей пятнами долине. Море было спокойно и поднималось к горизонту без единой волны и морщинки. Но влечение к нему и очарование его исчезли. Пленительный прилив видений сменился отливом. Наглость этих солдат отбросила нас к другому ряду мыслей. Она нас не удивила, потому что мы к ней давно привыкли. Но теперь, когда мы собрались здесь все вместе, такими, как мы есть, каждый под тяжестью личных воспоминаний, — подавлявшая нас возмутительная несправедливость выступила с еще большей отчетливостью и остротой. Каждый в нашей группе угадывал во всех остальных ход своих собственных размышлений. Хватило бы одного слова, брошенного кем-нибудь из нас кончиком губ, чтобы выразить то, что мы говорили тогда мысленно самим себе. Но к чему фразы, когда молчанье, царящее среди пяти существ, испытавших одинаковую участь, трепещет всею горечью, переполнившей их душу. Взгляд индуса, сидевшего со склоненным лицом в позе его страны, странно мерцал из-под полуопущенных век; на тупом лбу африканца у соединения бровей бугрились две морщины; египтянин до хруста сжимал скрещенные худые пальцы, а я, пока поезд приближался к Эль-Аришу, созерцал здесь, в этом вагоне, весь Восток, таящий раскаты мятежа Восток, пробуждающийся и разрывающий свои оковы.

Изд-во „ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА"

Москва, Кузнецк. Мост, 13. Ленинград, Просп. 25 Окт., 13.
Харьков, Троицкий пер., 2.

ИНОСТРАННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

	Цена р. к.
Амп Пьер. Рельсы. 240 стр.	—.75
Андерсен Шервуд Уайнсбург Огайо. 360 стр.	1.25
Верт Леон. Клавель солдат. Перев. с фр. под редакц. Е. Левина. 240 стр.	1.30
Граф Оскар-Мариа. Пережитое. (2-е издание). 180 стр.	—.50
Гриммельсгаузен Я. Чудаковатый Симплициссимус. 212 стр.	—.70
Доржелес Ролан. По дороге мандаринов. 176 стр.	1.20
Дюамель Жорж. Жизнь мучеников. 203 стр.	—.75
Дюффо Жан. Марабу в шляпе. Роман. 132 стр.	—.60
Жеромский Стефан. Предвесеннее. 416 стр.	1.—
Истрати Панаито. Кира Киралина. 180 стр.	—.50
Киш Эгон-Эрвин. Неистовый репортер. 128 стр.	—.85
Конрад Джозеф. Лорд Джим. Роман. 576 стр.	2.20
Мориц Жигмонд. Золото в грязи. Перевод Александровой. 164 стр.	1.40
Нексе, Мартин. Солнечные дни. 176 стр.	—.75
«Новинки Запада». Альманах. 264 стр.	1.50
Нотари Гумберто. Три вора. Роман. 124 стр.	—.60
Перошон Эрнест. Нэна. Роман. 224 стр.	1.10
Петцольд А. Суровая жизнь. 200 стр.	1.55
Прюдом Сюлли. Избранные стихотворения. 132 стр.	—.50

	Цена р. к.
Синклер Эптон. Самуэль Искатель. 324 стр.	—.85
Франк Вальдо. Праздник. 136 стр.	—.60
Штернгейм Карл. Наполеон. 48 стр.	—.25
Эсс Раймон. Рикэ с хоходком. 104 стр. . .	—.55

ПЕЧАТАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Гельсуорси Джон. Белая обезьяна.

Десберри Лоренс. На берегах Гудзона.

Кальдерон. Месть кондора.

Лондон Джек. Смок Беллью.

Его же. Приключение.

С ЗАКАЗАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

Москва, Кузнецкий Мост, 13. Изд-во «Земля и Фабрика».

Москва, Столешников пер., 5. (Телеф. 3-56-83). Магазин № 1 Изд-ва «Земля и Фабрика».

Москва, Лубянский пасс., пом. №№ 25—30. (Тел. 2-31-78). Отдел Книготорговли Изд-ва «Земля и Фабрика».

Ленинград, Проспект 25 октября, № 13. (Телефоны: 2-43-08, 1-54-52 и 95-99). Северо-Западное (Областное) Отделение Изд-ва «Земля и Фабрика».

Харьков, Троицкий пер., 2. Украинское Отделение Изд-ва «Земля и Фабрика».

■ ■ ■ ■ ■

БИБЛИОТЕКА